

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО/
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

2

1 9 2 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ИЗД-ВО

МОСКВА, Красная площадь, 2-й дом Реввоенсовета СССР, под'езд № 1.
ЛЕНИНГРАД (отделение): Проспект 25 Октября, д. 20.

Я. Файнш. Радиотехника, ее достижения и практические применения 64 стр. Ц. 40 к.

В. Комфорт. Первая книга радиолюбителя. 1.—Основные принципы радио-телефонии в общедоступном изложении. 2.—Как самому построить радио-приемник. Под редакцией и с предисловием проф. В. Вологодина. Перевод с англ. (с дополнениями) С. Хвилицкого. С 25 рис. в тексте. 127 стр. Ц. 60 к.

ь. ТАЛЬ. История Красной Армии. Краткий общедоступный очерк. 168 стр. Ц. 75 коп.

ГОРОДНЕВ. Очерк Красной Армии. 116 стр. Ц. 80 к.

С Венцов и С. Белицкий. „КРАСНАЯ ГВАРДИЯ“. С 10-ю схемами и картами. С прилож. текстов прокламаций, воззваний, приказов, резолюций и пр. Библиография. 181 стр. Ц. 1 р. 20 к.

И. ПОДШИВАЛОВ.

ГРАЖДАНСКАЯ БОРЬБА НА УРАЛЕ 1917—1918 г.

(опыт военно-исторического исследования). С 16 Фотографиями и схемами в тексте и с прилож. 5-ти карт. 221 стр. Ц. 2 р. 30 к.

„ДОБРОХИМ“.

Сборник материалов для бесед, лекций и для самообразования. Со вступительной статьей и под редакцией академика В. Ипатьева. С 6-ю рисун. и прилож. одной таблицы: «Боевые отравляющие вещества». 225 стр. Цена 1р. 40 коп.

СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕНКА, 24 (вход с Селиверстовского пер.). Тел. 4-58-22.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., ушн., носов.	с 9—8.	Лечение гипнозом.	с 10—1; 3—8.
Венерич и мочепол.	9—8.	Туберкулез легких.	9—12 и 6—8.
Хирургические.	9—8.	Внутренние.	с 9—8.
Женские и акуш.	9—8.	Детские.	9—8.
Глазные (подбор очков).	9—8.	Кожные.	9—8.
Желудочные.	9—10 и 12—2.	Лечение угрей и пятен.	9—8.
Болезни сердца.	с 12—1.	Леч. волос (выпад., перхоть).	9—8.
Нервн. и душевн.	9—8.	Испр. запад. носа.	с 10—12 и 5—8.
Болезни мочевых путей (мочев. пузыря, лохан-к и почеч.)	9—8.	Испр. запад. носа.	с 10—12 и 5—8.

АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока. лечен. пломбир., удаление, искус. зубы 9—3 ч.; хирургич., полости рта (бол. десен) 2—4 ч

ЗУБОВРАЧЕБ. ОТД.:

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБ.:

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБ.:

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскр. и празд. прием с 10—2 ч.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ,

6. о-ва русских врачей, сущ с 1861 г. Арбат, 25 Тел. 3-70-85.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Внутренние.	10—8.	Хирургия.	10—12; 2—7.
Кожно-венер.	10—12; 5—7.	Женск. акуш.	10—7.
Ухо, горло, нос.	3—7.	Нервные.	10—1; 2—4; 7—8.
Детские.	11—7.	Зубные и искусств. зубы.	10—7.
Мочеполовые.	1—4.	Туберкулез костей и суст.	4—5.
Глазные.	11—1; 6—8.	Ортопедия.	

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания, лечение. Анализы: крови, мочи, мокроты желудочного сока и др. По воскр. прием с 11—3.

Д-р ШЕНФЕЛЬД.

Вольш. Дмитровка, 12, кв. 3.
Спец. НЕРВНЫЕ и МОЧЕПОЛОВЫЕ.
10—1 ч. и 4—7, по праздникам 10—1.

Д-р ВОЛОДАРСКИЙ.

Покровка, д. 19, кв. 21. Тел. 2-32-45.
Кожн., венер., сифилис, мочепол. и нервы.
Пр. 9—1 и 4—9. Праздн. 12—2.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ.

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ФЕВРАЛЬ.

№ 2.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
А. Яковлев.—Жгель, рассказ	3
Г. Устинов. —Черный ветер, повесть	31
Е. Бражнев.—Котел кипящий (из книги „Стучит рабочая кровь“)	53
Стихотворения: С. Образовича, С. Есенина, Е. Панфилова, А. Липецкого, В. Александровского и П. Радимова .	72
Андрэ Марти.—Черноморское восстание (воспоминания) .	80
В. И. Ленин.—Тезисы ответа германским „независимым“ на предложение переговоров (неопубликов. рукопись).	94
М. Рейснер.—Психология в свете марксизма	100
Г. Якубовский.—Неверов (литературный портрет) . . .	111
Б. Кажинский.—Синий уголь	123
Проф. В. Хлопин.—Что сделано в СССР за последние годы по изучению радия?	131
По Советской земле: Вяч. Шишков.—Приволжский край .	134
Библиография	149

Жгель.

(Рассказ).

I

За болотами с синим маревом, за лесами, за дремучими, в комарином царстве—Жгель. Как морок она, эта Жгель, как пьяный, аль похмельный сон. Итти к ней—дороги дальние да топкие; в лесах, что стоят стенами и справа и слева от дороги, мрак угрюмый, вековечный и седые мхи. Идет путник да ждет: вот-вот в самой дрёме будет избушка на курьих ножках, а в избушке баба-яга. Ан вот лес оборвался, стал стеной, уперся точно идти дальше не хочет—боится, а прямо перед ним, на неохватной поляне, толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит тучами прямо в небо и чадно коптит копотью лицо небесное. Над иными трубами пламя вздымается—так вот богатырской свечей сажени в полторы и полыхает. Красные кирпичные здания покоями да глаголями протянулись по обезображенным закоптелым полянам, вздымаются двумя, а иной раз тремя ярусами. Рядом вот с ними, саженьях вот в ста каких—гляди, расселся широко черный сарай, из крыши у него дым валит,—прямо из щелей. Это горно. А деревушки там и здесь—жалкенькие, подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали,—батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и шум, и гудок, гляди, басовитый гудит на каркуновском заводе, будто лесовик ревет в шурган.

И люди здесь—подстать этим сумрачным лесам, этому пламени, дыму этому и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по дороге—закопченный, волосами зарос по самые глаза, полущубок и шапка рваные—вот брось на дорогу, никто не возьмет, разве ногой брезгливо пошевелит:

— А-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.

И этак большим загибом загнет словцо про жгелян—не продохнешь.

А жгеляне гордятся.

— Наша Жгель всем нос утрет. Мы кто? Мужики? Ни в каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравлену посуду царю

Алексею Михалычу поставлял?—Мы.—Чьей посудой держутся трактиры в Москве?—Нашей. Теперь и сочти, сколь мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок в дырах. Мы, жгельяне,—проломны головы. Нам новое не к лицу: пропьем в первом кабаке.

Ну, само собой, не все пьяницы да голяки,—и степенного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилыны, Сахаровы, Ревуновы... Жгель—вроде дно золотое, потому что жгельская глина славна исстари, умей только руку протянуть и бери богатство полными горстями. И берут, и богатеют. Жгельские купцы не только в округе,—в Москве гремят. Али вы не слыхали про жгельских купцов?

И первый-то между ними—Мирон Евстигнеевич Каркунов.

Вот, гляди, от дороги вправо—длинные двух'русные постройки из красного кирпича глаголем протянулись,—это каркуновская фарфоровая фабрика... Эге-ге-ге! Как не быть первым человеком, ежели вот они какие корпуса! У иного купца жгельского и фабрика есть, да и что в ней толку, ежели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется? А у Каркунова рабочих до тысячи человек работает! Правда, больше бабы, а баба, известно, во всей Жгели и в полчеловека не идет, ну, все-таки, тысяча—цифра немалая.

За фабрикой, на пригорке, мимо которого прохлыстнула дорога, кичливо стоит просторный дом, белый, каменный, с террасой стеклянной,—здесь сам живет, Мирон Евстигнееч. Фабрика перед домом, внизу, вот вся, как на ладони; знают рабочие: подойдет хозяин к окну,—ему сразу видать, что делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он из своего окна в одно фабричное окно, в другое,—уже знает, как дела во всей фабрике двигаются. Орлом налетит, ежели неуправка какая,—у него не зазеваешься. Накричит, и всегда—раз! раз!—затрещину, — и мастеру и рабочему, и бабе, и мальчонке,—он не поглядит, в каких ты чинах ходишь,—проштрафился,—получай по заслугам. Чем дело держится? Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они—главное всего. Не досмотришь,—все может прахом пойти.

Мирон Евстигнееч маху не даст, у него прахом дело не пойдет... Ге-ге-ге, не таков Каркунов, чтоб свое упустить.

II

От Сергиева дня до Покрова во всей Жгели переломная неделя: от лета к зиме—смена работ и рабочих, расчеты за старое и новые наймы и сделки.

Еще черти на кулачки не дрались,—так рано, а на дворе каркуновской фабрики толпа неумно гудит. Крикливыми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели крыльцо кон-

торы, они пронзительно ругаются, — точильщицы, уборщицы, мяльщицы — их много, и кто-то из них ужь пойдет с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают, — и каждая теперь думает: „не я ли?“ — и уже заранее ненавидит своих счастливых соперниц и заранее готова сбить цену... Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно и в стороне, — эти знают себе цену.

А мужики сгрудились у белого дома, у террасы. Мужики нанимаются не в конторе, а вот здесь, и нанимать их будет сам Мирон Евстигнейч. Они стоят угрюмо, смотрят на освещенные окна хозяйского дома, переговариваются вполголоса.

— Ишь, скажи, пожалуйста: со вторыми петухами пришли, а он не спит.

— Евстигнейч-то?

— Да.

— Богатым никогда не спится. Они двужилые.

— Палач-то приехал?

— А как же? Без него дело не обойдется. Где-ни-где он, а к этому дню обязательно прискачет.

— Ну, загремят ныне чьи-то ребрышки.

— Не без этого.

— Выпить бы. Есть, что ли, у тебя?

— На сотку найдется. Пойдем.

— Для храбрости надо.

Утро все растет и растет. Вот внизу, у конторы, бабы закричали пронзительно, заволновались, насаждают на крыльцо. Мужики посмотрели на них издали и заговорили сумрачно:

— О-о, никак губахтер пришел?

— Он. Ну, теперь и наш, надо быть, скоро явится.

— Счас кухарка на двор выходила, говорит, что чай пьет.

— Эх, хорошо быть богатым.

— Чшш... идет...

Дверь на террасе отворилась, и сквозь стекла видать — мелькнул там кто-то большой и черный. Невидимый вихрь трепнул толпу, — все качнулись, оправились; кто сидел, встали, и все сняли шапки и картузы.

На высоком белом крыльце встал богатырь черный — сам Мирон Евстигнейч. Черный картуз на нем с широким тугим верхом, длинный кафтан староверский — сорокоборка, блестящие сапоги бутылками. Рыжая борода лопатой, — из под козырька широко глядят маленькие серые жуликоватые глазки. Широким размахом снял картуз Мирон Евстигнейч и три раза перекрестился на золотую полоску над лесом, откуда вот-вот покажется солнце. И, кланяясь, он привычно встряхивал длинными волосами, подстриженными в кружок. В толпе из угодливости закрестились.

— Здорово, братцы!

Голос у Мирон Евстигнейча звонкий, басовитый, — таким голосом хорошо ругаться: до самой души проймет и в трепет бросит.

— Доброго здоровьица, Мирон Евстигнейч!

— Здравствуйте, ваше степенство!

И в голосах—заиск, униженность, козлиные бляющие нотки.

— Эге-ге, да вас многонько собралось ноне, — усмехнулся Мирон Евстигнейч, — куда мне столько? Мне столько не понадобится... Что вы, братцы? Да вы адресом ошиблись. Вам бы надо к Гладилину идти. Он ныне много нанимает.

— Да уж сколько вашей милости понадобится. Уж мы готовы послужить.

— Это я знаю, как вы готовы послужить. На второй - то Спас выдали меня с руками-ногами.

— Да ведь это, как говорится, против рожна не попрешь. Там Степка Железный Кулак объявился. С ним разя сладишь?

— Так, так. Кто это говорит-то? Никак это ты, Тимофей?

— Нет, это Петрунька Ручкин.

— А-а, Ручкин? Ну, что ж, Ручкин, по-твоему, так-таки и не сладим?

Ручкин шагнул раз, другой, весь ослабил.

— Да где же сладить - то? Ен вон какой. У него кулаки, ровно гири. Как меня по горбу смазал, так я будто в яму пал.

— Ишь ты. А глядеть-то, мужик ты не плохой.

— Это уж как ваша милость.

— Так не сладим?

— Где же... Ен...

— А ну-ка, братец, иди отсюда к шутам.

Ручкин оторопел, посмотрел испуганно на Мирон Евстигнейча.

А Мирон Евстигнейч только рукою махнул.

— Иди-ка, иди. Нам таких не надо. „Не сладим“. Проводи-ка, его, братцы, чтоб не мешал.

И братцы — их много — угодливо и торопливо берут Ручкина за ворот, за руки, за бока, толкают от крыльца, — и минуты нет, — Ручкин уже широко шагает вниз, к корпусам, а оттоль по дороге прочь. Мирон Евстигнейч смеется одними глазами, поглаживает бороду, смотрит на толпу. А толпа гудит виноватыми голосами:

— Ну, как не сладить? Сладим.

— Бог даст, сладим. Мы ему бока намнем.

— Зря это Ручкин-то...

Мирон Евстигнейч милостиво улыбнулся.

— Так сладим?..

— Знамо, сладим!..

— А ну, добре. Это мы поглядим. Только вот, братцы, как же? Много лишних пришло.

Он посмеивается хитренько, гладит белой рукой рыжую бороду,—и все видят: рука у Мирон Евстигнейча вся обросла рыжими волосами.

— Не надо столько,—говорит он громко и, будто жалеючи, вздыхает.

Бормочут мужики виновато:

— Уж сколько вашей милости...

— Ну, что ж, кто из вас у меня работал? Отходи вот сюда.

Толпа колетса на-двое. Большая часть—идет в сторону.

— Эге-ге, да вас много.

— Да как же? Мы испокон веков каркуновские.

Десятка полтора осталось, стоят на месте перед крыльцом.

— А вы откуда?

Мужики гомом-гомонят, выкрикивают: Лужки да Подсо-сенки, Иваново да Романово—деревушки жгельские.

— Ну, а драться умеете?

— Да как же, ваше степенство, не уметь? Сызмальства деремся.

— А ну, вот ты да вот ты, схватитесь-ка, а я погляжу. Кто побьет, того найму.

Два мужика, рослых, бородатых, снимают полушубки, пятнами яркими покраснели рубахи кумачевые. Толпа с гого-том строит круг перед белым крыльцом, мужики надвинули шапки на глаза, натянули голицы, порасправились. И петухами один на другого.. Гоготом взревела толпа. „Га-га-га, дай ему, дай!“ И минуты нет,—у бойцов кровь на бородах, и рубахи клочьями. Пятый, седьмой, десятый раз сходятся и расходятся они. Уже пар и кровь изо рта у того, что пониже. А не сдает: страшна, должно быть, голодная зима без работы. А другой бьет его четко и сильно. Мирон Евстигнейч смотрит на них сверху с крыльца, и борода двигается от удовольствия. Уж видно: большой ломит, у малого кости трещат,—иди, малый, в рваной рубахе на печку домой. Вдруг малый увернулся, изловчился,—трахнул большого под самую под ложечку,—и большой боец, взмахнув руками, со всего размаху грянул на-земь. Взыла толпа, вскружилась, глазки Мирон Евстигнейча утонули в улыбке.

— Молодец. Что ж, отходи вон к ним. Да и этого.. водой его отлейте, да пусть и он становится на работу. Крепок в кулаке.

Большого на руках тащат в сторону, отливают водой. А счастливчик одевает полушубок и размазывает кровь на лице...

— А теперь вот—ты и ты,—говорит Мирон Евстигнейч, и белым пальцем показывает на одного, на другого. И еще пара становится в бой...

Час и два у террасы идет наем: бьет до полусмерти мужик мужика. Мирон Евстигнейчу стульчик из комнаты вынесли на крыльцо. Сидит он, посматривает, ряду рядит.

Стоял в толпе мужик вроде цыгана черный. Показал на него Мирон Евстигнееч.

— Вот ты. Ну-ка, вот с этим схватись.

Черный мужик неторопко снял полушубок, поплевал на кулаки и, присев, потёр их об землю. Встал, еще потёр, понюхал и удало так крикнул:

— Эх, кулаки-то! Смертью пахнут.

И, развернувшись, ударил супротивника. Толпа ахнула: супротивник—высоченный мужичища—пал, как подрезанный. Даже Мирон Евстигнееч поднялся, удивленный.

— Эге, да ты пряткий. Теперь вот с этим схватись-ка.

И еще показал на высокого.

Опять разошлись. И с третьего удара—высокий с копыт долой.

Мужики и заробели. Жмутся, жмутся, ныряют друг за дружку, чтобы Мирон Евстигнееч их не поставил против этого дьявола черного. И голоса робкие.

— С ём разя сладишь? Это Ленька Пилюгин, он известный.

— А ну, позвать сюда Палача!—крикнул Мирон Евстигнееч.

Рябой мужик вылез к крыльцу.

— Ну-ка, Микиша, покажи этому, а то он что-то больно храбер.

Микишка с развальцем вышел в круг и стал против черного.

Замерла толпа. Поднялся Мирон Евстигнееч на цыпочки, ястребом глядит. А удары сыпятся гулкие и ёкает у бойцов в грудях. Глаза у черного выкатились из орбит, страшные. Бьются пять минут, десять. Остервенели оба.

— Будет, будет,—махнул рукой Мирон Евстигнееч.—Ну, молодцы!..

И кричит оглушительно:

— Дунька, водку сюда!

Дунька тащит прямо в ведре зеленую водку, перегибается. В корзинке хлеб и огурцы малосольные—закуска.

— А ну, братцы-бойцы, подходи.

И белые фарфоровые кружки тянутся к ведру.

Мирон Евстигнееч угощает из своих рук черного.

— Да ты чей такой? Я тебя что-то не знаю.

Час спустя пьяная толпа идет к конторе—заклчить условие и получить задаток... А на конторском крыльце бабы стоят—с лицами, кривыми от злости.

— Дьяволы! Обдиралы! Двадцать копеек на день! Где это видано? Хлеба одного на гривенник сожрешь на такой работе.

Другие тут же плачут;

— Хоть бы какую работёнку...

Уж после обеда сам Мирон Евстигнееч идет в контору. Бабы ему в пояс, а кто—в ноги прямо, так ковром и стелются.

— Кормилец, и нас возьми.

— Ну, что ж. Сколь вас осталось? Сто пять? Пятиалтын-
ный на день дать можно. Кто хочет,—оставайся...

III

Покров в Жгели—престольный праздниче: три дня пьянство, четыре опохмеля, неделя вся в крутяге пьяной, в тумане пьяном идет. Разочлись, нанялись, порядились,—опять дело в устой пошло на полгода на целые. И девки с парнями, по старому обыку, по вековечному, норовят свадьбу подогнать к Покрову. Пословица не мимо молвится: „Придет батюшка Покров, девку покроет“.

На Покров последняя копеечка ребром идет, да не просто идет,—еще и вприсядку пляшет.

Гляди, обедня не отошла, а пьяных—урево. Федот Пантелеев у самой паперти снял праздничный новый картуз, поклонился в землю, да так и остался лежать—силов уже нет подняться. Бабы засудачили:

— Ишь, нажрался спозаранку. Оттащить его надо, а то счас сам выйдет,—рассердится.

— Знамо, оттащить. Задавят, матушки мои, недорого возьмут.

— Мужики, а, мужики! Возьмите вот товарища.

А мужики уже сами на взводе, берут Федота, волокут, а у Федота ноги раскорякою.

Все каркуновские у староверской церкви; есть которые и православные—здесь тоже, даже сторожа-татары пришли,—стоят кучкою в ограде. Ежели у Каркунова работаешь, на Покров ходи в староверскую церковь,—закон такой. Химик Карла Карлыч, на что уж самому Лютеру подвержен, а гляди—стоит в обедни с самого начала.

В ограде говорят вполголоса, не курят (боже сохрани!), и только кое-где украдкой мелькнет полбутылка...

Федота оттащили за боковое крыльцо, положили.

Вот и трезвон грянул, заплясал в звонком воздухе: отошла обедня. Народ повалил из церкви, в ограде все задвигалось, двумя стенами стали вдоль дорожки деревянной, что протянулась от церкви до самого крыльца каркуновского белого дома. Вот и сам Мирон Евстигнейч вышел из церкви. На паперти он повернулся к иконе наддверной и три раза поклонился низко-низко, а уже потом, ступив на первую ступеньку—расклаваясь с народом:

— С праздником вас!

И вся толпа гулом дружным:

— И вас также, Мирон Евстигнейч!

— С праздничком!

Черные картузы, рваные шапки птицами мелькнули над головами, а бабы—в пояс, в пояс, в пояс, точно камыш на болоте под ветром.

За Мирон Евстигнеевичем идет супруга его Матрена Герасимовна, не баба, а тулпёга, глядеть на нее—колом не своротишь. Идут они двое—он на шаг на один впереди, идет—клубяется направо, налево, картуз в руках держит, а она—кубышкой за ним, вперевалку, и тоже румяной улыбочкой светит на все стороны. И толпой за ними гости—толстые и тонкие, низкие и высокие—мужчины все в староверских кафтанах, женщины—в старомодных шубейках атласных, все в платках белых. Здесь—вся знать жгельская,—фабрикантики, управители, старшина здесь. Фомины, Еремины, Ревуновы, Сахаровы. Есть и дальние: вон козырем идет шупленький человечек с тощенькой бороденкой, дулевский делега Лексаша Перегудкин, а рядом с ним Григорь Митрич Храпунов—не человек, а столбина каменный. Гостей много, чести много.

Колокола залихватски трезвонят в перебор—словно радуются каркуновскому почету.

От церкви, проводив хозяина, толпа рабочих и работниц идет к фабрике, где в живописной, освобожденной на этот день от посуды, готов покровский обед от хозяина. Сколько? Тысячи две народа—очередями сотни по четыре—обедают у Каркунова в этот день.

И не обед дорог, не стакан водки дорог—что обед и водка?—честь дорога: в гостях все у хозяина, у Мирона Евстигнеевича.

За первый стол садятся самые почетные. Мирон Евстигнеевич сам приходит пригубить рюмку. Он с шуткой, с прибауткой угощает:

— Пей, ребята, в божью славу, в тук да сало, в буйну голову,—вам испить, вам и силушку копить.

— А тебе, Евстигнеевич, и силушку, и богатство.

— Спасет Христос! Пейте на здоровье!

И пьют, и едят, и славят благодетеля. Выходят после из живописной, лица у всех будто лаком покрыты, и уже издали хозяйским окнам кланяются.

А у хозяина—в хоромах просторных—пир горой прет. Уже подрумянились все. Румяные сдобные купчихи хохотом хохочут. Вот он, Мирон-то Евстигнеевич, прямо с ножом к горлу:

— Дарь Тимофевна. Заморского-то. Настасья Ивановна. Что ж ты не пригубила? Покорнейше прошу... *У меня чтоб без откату. Нельзя. Раз в году и выпить не грех... А ты,—будет тебе. Э-э, что ты силу-то оставила? Уж пить, так до дна пить. Пейте-кушайте, покорнейше прошу!

— Больше невмоготу, Мирон Евстигнеевич. Вдосталь.

— Вдосталь? А пуп трещит?

— Не только трещит, лопнет сейчас...

— А ну, я послушаю, трещит ли?

И ухом лезет слушать—под хохот всеобщий да пьяный. Как тут откажешься? Известно, балясник.

А за торфяными кучами, на широкой поляне, уже сходится народ—парни, мужики, мальчишки, на побоище на кулачное. Уже мальчишки ярятся, сучат кулаками, орут звонко: „давай, давай, давай!“ На это побоище—на покровское—сходится народ из десяти ближних деревень. Тулупы, пиджаки, чапаны, рукавицы, сапоги, лапти, бороды, шапки,—столько наперло, глазом не окинешь. Ребятишки уже схватились. Деревенских больше, но заводские ловчее и бойче—раз! раз! раз!—гляди, деревенские дрогнули, к лесу подрали. „Давай, давай!“ Вот выскочил деревенский, чуть побольше, кинулся, остановил заводских.

Схватились—заводские драла... Вот и пареньки ввязались. Задорный, дразнящий шум повис в воздухе. Видать—все затомились.

— Эх, схватиться бы.

— Да чаво ж там? Сказать бы надо.

— Где Палач-то? Пошел бы, сказал.

— Чего народ зря томится!

— Эй, Микишка, сходи, скажи. Народ ждет.

И все—и деревенские и заводские—кричат:

— Сходи, Микиша.

Микишка, вытулив спину, идет к белому дому—сказать хозяйину, что народ ждет его: без хозяина нет обыка начинать покровские бои.

Меркнет короткий осенний день, вот-вот тусклое солнышко зацепит за дальний лес,—только тогда выходит Мирон Евстигнеев на поляну. Пьяненькие гости идут с ним—здесь и шупленький Перегудкин, и столбина Храпунов, и два брата Фомины и Сергей Иванович Сахаров. А баб нет,—непристойно бабам драки смотреть да брань слушать. Каркуновские бойцы грудятся вместе. Палач с ними—на целую голову всех выше. Гулом довольным встречают они хозяина. И—чу!—ярострее закричали ребята: „давай, давай, давай!“

— Что ж, начинать бы надо,—сказал Мирон Евстигнеев, раскланиваясь с толпой.

— Вас ждем, ваше степенство.

— Без вас драка не в драку.

— Э, да, ныне деревенских невпрогляд.

— Много пришло.

— Грозят, какую-то закуску для нас привели.

— Какую закуску?

— Не рассказывают.

— А ну, посмотрим... Что ж, ребята валите. Цыганок-то новенький здесь, что ль? А-а, здесь, ну, что ж, ты и начни. Погляжу я, какой ты в настоящей драке.

Цыганок обеими руками поправил шапку и решительно пошел к дерущимся парням. Каркуновские повалили толпой за ним. Ага, и деревенщина заметила—гляди, задвигались, и стеной пошли навстречу Цыганку. И разом выравнялись двумя стенками. Мальчишки прочь, парни прочь, в стороны. Мелькнула чья-то красная рубаха. Цыганок ястребом—в самую кучу деревенских, над головами мелькнули кулаки, и посыпались удары, только слышно яростное уханье и глухие звуки „бук-бук-бук“... Мирон Евстигнейч поднялся на кучу торфа, глядит издали, а сам весь ежится, ярится, будто его бьют и он бьет. Вот каркуновские сломили деревенских—„а-а-а“, побежали к лесу. Вдруг там в посконной рубахе кто-то встал, видать—варом-варит каркуновских. Гляди, уже куча лежит. Не выдержали каркуновские, дёру назад.

Отсюда грянули в стенку остальные бойцы, что стояли с хозяином. Гляди, оба брата Фомины—тоже грянули. Только Палач еще остался.

Сшиблись, остановили деревенских,—вихрем закружились на месте, и за черными пиджаками пропала на момент посконная рубаха. „Давай, давай!“ Толпа сжалась, крутится, только кулаки мелькают над головами, и пар стоит,—вот стена сломилась, и каркуновские бросились в рассыпную... Мирон Евстигнейч в проломе увидел мужика в посконной рубахе,—мужик клал каркуновских направо и налево.

Мирон Евстигнейч зубами заскрипел от ярости.

— А-а-а, чей такой? Бейте его, сукина сына!

А чей-то угодливый голос уже гудит ему в ухо:

— Это и есть закуска, которой деревенские хвалились. Это Степка Железный Кулак. Хватовский.

— Бей его!—орет иступленно Мирон Евстигнейч.—Микишка, чего глядишь? Дай ему!

Микишка Палач глянул на хозяина и по ярости понял:— время и ему ввязаться. Он неторопливо снял пиджак и, засучивая рукава, пошел навстречу посконному мужику. И разом кругом замерли. Здесь и там—остановились, опустили руки, точно у всех погасла ярость. И все—только на них—вот Палач идет, вот посконный мужик—Степан Железный Кулак...

— А-а, не выдай, Никиша!—орет Мирон Евстигнейч.

Прямой и твердой поступью Палач шел на мужика. Вот дошли. Раз!.. Палач ахнул мужика в плечо. Тот качнулся. Стон пролетел над толпой. Все сгрудились, окружили кругом. Вдруг Степан тяпнул Палача в грудь,—и оба сцепились, зарычали яростно. И вот—все видели—как-то наотмашь, с левши, Степан ахнул Палача в висок... Палач нелепо взмахнул сжатыми кулаками и, точно пласт, грохнул на мерзлую землю. Каркуновские застонали,—Мирон Евстигнейч бросился в круг сам, но уже все в ярости забыли, что надо его пропустить,—круг не разжимался.

— А-а-а!—ревела толпа...

Вдруг рев разом оборвался... У всех в испуге разинулись рты. И странное слово мелькнуло:

— Убил.

Круг расступился, и Мирон Евстигнейч увидел: лежит Палач, неловко подвернув под себя ногу,—и кровь изо рта у него—широкой красной лентой на бороду, с бороды на землю. Деревенские попятились. Посконная рубаха мелькнула среди полушубков и пропала.

IV

К утру другого дня уже лежал Никифор Палач под святыми, в деревянном тулупе—в гробу, и медный крест староверский, восьмиконечный, поблескивал поверх его холстинного савана, поблескивал в тех самых руках, что складывались в могучие кулаки, наминавшие бока и деревенским мужикам, и своим же, каркуновским, рабочим. Кусок ваты лежал у виска, и синие тени тянулись от виска по всему мертвому лицу. В хибарке набилось баб—не протолчешься; плачут, сморкаются, участливо смотрят на высокую дебелую бабу с заплаканным покрасневшим лицом, на мальчика смотрят, что притулился у окошка возле гроба, жалеют.

— Осталась вдова с малым. Куда пойдет?

— Ну, поможет хозяин. Любимый слуга был. Как же?

— Гляди, поможет ли? Хозяин-то урядливый, это правда, да скупой больно...

— Чшш, никак сам идет? Так и есть, сам.

— И-и, зёл, бабы. Берегись!

Метнулись туда—сюда, которые к печке, которые в сени,—а на крыльце уже топают гулко тяжелые ноги. Вошел Мирон Евстигнейч мрачнее ворона, отбил три поклона поясных перед гробом,—подошел ближе, глядит в лицо мертвое. А баба, вдова-то новая, ка-ак загалдит-запричитает:

— А, милый ты мой Микишенька! На кого ты меня спокнул? Кто теперь меня поить-кормить будет?

Таким голосом—вот и не слушал бы. Обернулся Мирон Евстигнейч, искоса поглядел на бабу.

— Ну, баба, не горюй. Ничего не сделаешь. На роду написано.

И хватъ за карман, — роется, роется в кошеле, — тащит красную десятирублевку.

— На-ка вот, на похороны.

Баба—кувырь в ноги. И опять вѡпом:

— Спокинул на кого, лебедик мой? Убили тебя злодеи-злодейские.

Мирон Евстигнейч нахмурился, ушли глазки серые под брови.

— Чшш, дура! Про чего это ты? Кто убил? Сам убился. Звони больше.

— Да как же мне теперь? Век жить—тужить?

— Ну, гляди, истужилась в лучину. Потужишь да забудешь. А это ты выбрось из глупой башки, будто убили.

— Мальчонка вот, куда я с ним денусь?

Метнул косою взгляд Мирон Евстигнееч на Яшку—хмурого да зеленого—буркнул:

— После праздников в контору придешь, — переговорим. А теперя вот мой приказ—ныне же вечером хорони.

— Да как же это? И трех ден не лежал...

— А, говорить с тобой! Сказано—ныне, значит, надо. Поняла? Да гляди не больно слова-то распускай: „убили“. Кто убил-то?

Растерялась баба, туды—сюды, а Мирон Евстигнееч одно слово:

— Ныне. Я и работников пришлю. Гляди, баба.

И пошел, громыхая лапищами. И через полчаса наскочили мужики, бабы каркуновские, засновали туда—сюда, враз вынос,—в церкву,—опомниться никто не успел, уже гроб в церковь тащат, уже отпели,—скоропыхом все. Прощаться сам хозяин опять приходил, и пешком за гробом шел—до кладбища. Пьяным-пьяно было во всей Жгели. Так пьяненькой толпой и шли за гробом. Уже в сумерках зарыли гроб в землю. Сам Мирон Евстигнееч перекрестился, сел в пролетку и потёк куда-то.

— Куда это он?—гадали в толпе.

— Надо быть, к становому, улаживать.

— Становой был уже сам у него. Всё улажено.

— Гляди, на хватовску дорогу повернул.

На улицах везде—песни, крики, и опять за торфяными кучами на поляне орут ребятишки: „давай, давай, давай!“ И ежели поминают кто про покойника, поминают восхищенно, но не жалеючи:

— Эх, и жулик был, царство ему небесное!

И еще тишком рассказывают: вчера Мирон-то Евстигнееч всех гостей разогнал.

— Ну,—говорит,—гости дорогие, попили, поели, а теперь домой пожалуйте. Мне не до вас.

И гости турманом от него, хотя приехали по-бывалошнему на три дня.

Через неделю опять работа позвала. Опять задымились в Жгели трубы и зашумели горны столбами огненными, опять: спозаранку глазасто засветились окна в корпусах, и людь с прожженными водкой утробами томились за токарными станками, у горнов, в мьяльной, в живописной. И опять за стеклянной перегородкой в углу, в конторе, поглаживая рыжую бороду, сидел сам Мирон Евстигнееч. Сидит, улыбается, доволь-

ный. И от хозяйской улыбки довольной—будто свет во все стороны. Шопотком говорили:

— Уладил всё. И Степку-то хватовского к себе в кучера нанял—на место Палача.

— Да ну-у?

— Ей-богу! Приезжал сам к нему. „Иди, говорит, ко мне служить, а то засужу, сукина сына“.

— И пошел?

— А как же? Пойдешь. Кому в каторгу охота?

— Вот. Ждал, чать, тюрьмы, а попал на само перво место.

В сенях конторы маячит Сычиха—палачева жена—и мальчонка при ней. Хотела с утра идти, как приказал хозяин: „после праздников приходи“, да бухгалтер отсоветовал:

— Погоди, баба, поглядим, каков он. Ежели зёл, и ходить не стоит, а ежели добрый—тогда пойдешь.

Перед обедом объяснилось: добрый.

Бухгалтер Сычихе пальцем кивнул—иди, дескать. Баба вытулила спину—будто от горя, ухватила сына за руку, к стеклянной двери подошла и, только через порог, кувырь прямо головой к резной ножке хозяйского письменного стола. Мирон Евстигнеич погладил бороду, сказал:

— Встань. Я не бог—кланяться мне. Чего надо?

— Не дай с голоду, батюшка, умереть сиротам.

— Ну, с голоду. Гляди, изголодалась, тумба. Говори толком.

— Вот мальчонку-то возьми, батюшка.

И толкает Яшку вперед. А Яшка сбылчился, уперся, нейдет.

— Э-э, мозгляк какой. Куда его суну?

— А ты, батюшка, не смотри, что мозглявый. Умный он у меня, разумный.

— В отца, поди?—насмешливо пробурчал Мирон Евстигнеич.

— Куда в отца! Лучше, батюшка. Он у меня и цифирь произошел.

— А-а, цифирь? Ну, что ж, поглядим.

И пронзительными глазами насмешливо прямо в лицо мальчугану глянул.

— А загадки можешь отгадывать? Ну-ка, угадай: под крыльцом, крыльцом яристым, кубаристым, лежит каток нека-таный; кто покатает, тот и отгадает?

Яшка вдруг улыбнулся во весь рот:

— Это я знаю. Это книжка.

— Ага! Знаешь. Так. Ну, а вот: один заварил, другой налил; сколь ни хлебай, а на любую артель еще станет?

— Опять книжка.

Глаза у Мирон Евстигнеича глянули удивленно.

— Ого, да ты, малый, тямкий. Ну, что ж, мать, оставь, поглядим. В контору приспособлю. Только уж очень он у тебя тощей. Плохо кормишь, что ль?

И, не дав времени ответить, крикнул:

— Матвейч, подь-ка сюда.

А бухгалтер уже здесь, у двери.

— Куда бы нам этого мальчонку? Гляди, пригодится.

V

В развалочку, неторопко, как купчиха сытая, идет время в Жгели. По зимам—поют вьюги над лесами да над полями жгельскими, мечут сугробы. Да где же? Не загушить горнов бурливых, не загасить труб этих, кадил дьяволовых, гляди, сколь сажи кругом оседает на белейшем снегу по ближним полям и лесам. А теперь уж и вовсе: Каркунов новые корпуса воздвиг, трубу-то взгромоздил во сто четыре аршина вышиной— вот самое небо подопрет. Еще растолстел, еще раздобрел,— гордится, что каркуновский товар теперь в Персию пошел, в Туркестан пошел, спорит с императорскими фарфорами.

— Мы, говорит, его если не качеством, так ценой забьем. Мы, говорит, покажем ему. Мы, Жгель, дело старое, мы при царе Алексее Михайловиче еще муравлену посуду делали. У нас, говорит, опыт. А эти что же? Глину везут с Урала, топливо—с Дону, рабочим—втридорога. А у нас все под рукой. И дома, и замужем. Не-ет, где же? По прошествии времени мы развернемся, а он сгаснет.

И правда, развертывался все шире и шире. Контора теперь— одной конторы сорок семь человек. И Яшка Сычев первый деляга в новой конторе. Ежели Миرونу Евстигнеичу ехать куда по делу и подручного верткого взять, он берет Яшку. Слушок ходит: не нахвалится хозяин Яшкой.

— Отец хороший слуга хозяину был, а сын еще лучше.

Гляди, пошутит иной раз Мирон Евстигнеич:

— Жил-был человек Яшка, на нем была серый сермяжка, на затылке пряжка, хороша ли моя сказка?

Где это видано, чтобы такой урядливый хозяин со слугой пошутил? Как надо, по-доброму? Строгость нужна, спрос нужен, а не шутка.

Яшка в пиджаке сером, рубашка с отложным воротом и галстук веревкою с помпонами на концах. Причесан Яшка с пробором, кудерьки над висками. И все-то знает Яшка, во все вникает.

— В кого ты, Яшка? Отец-то у тебя дурковатый был.

— Не могу знать, Мирон Евстигнеич. Считаюсь Сычевым, значит, отцовский сын.

— Уж больно ты совчивый, во все дыры нос суешь.

— По делу, Мирон Евстигнеич. Дело развязки требует.

И хоть поворчит иной раз Мирон Евстигнеич, а поручение какое:—кого?—Яшку.

И уже величают все Яшку по имени-изотчеству.

— Яков Никифору, как жив-здоров?

А Яшке и восемнадцати еще нет.

С годами будто баламутнее стал Мирон Евстигнейч. От богатства, что ли? От почета, что ли? И будто никого на земле выше его. Что захочет, вынь да положь. Как прежде, любит кулачные бои. Угостить любит, и гости теперь к нему—в показанные дни трубой велят. Но года, надо быть, свое берут: засебривлась бородаща у него, поредела грива на маковке,—и к старости, что ли?—попов полюбил Мирон Евстигнейч. В церкви завел хор уставный,—по солям, крюкам поют, вроде как на Рогожском. Старинку скупает: иконы, книги,—и частенько в белом доме под окном над книгой сидит, что в толстом кожаном переплете.

И к службам подвержен стал,—ходит строго, и уже все знают: коли хочешь угодить хозяину, ходи к самому началу, молись истою.

А Жгель была прежняя: и чад над полями, и пьянство в лачугах, и драки по зимам, и нищета кругом нищенская. Что ж, это спокон веков ведется—кто изменит?

Только новые корпуса прибавились, новые горны, и тонкой полоской прохлыстнула через леса узкоколейка с маленькими тонко посвистывающими паровозами. С гордостью говорили жгеляне, что к Каркунову новые машины поставили. Да, машины новые, но пьянство, нищета—все было старое, спокон веков ведущееся.

Лишь раз случилось чудо, и об этом чуде говорили жгеляне целый год. У Семен Семеныча-конторщика, плута и бабника, однажды ночью горючими слезами заплакала икона Казанской пресвятой богородицы. Жил Семен Семеныч в дальнем краю во Жгели,—домик маленький, ветхий, от папаши достался.

Набежали соседи, узнав про чудо. В самом деле, плачет. Крупные слезы натекают под глазами и потом вниз—на ризу пречистую... Беленьким платочком собирал Семен Семеныч слезы.

— Гляди, православные, как плачет пречистая.

И весть вихрем по всей Жгели. У двора Семен Семеныча зачернели толпы. Бабы плотными стенами. Уж к вечеру и духовенство запело в тесных комнатах. Целую ночь народ со свечами в руках стоял перед Семен Семенычевой избой,—молебен за молебном... А к утру попер народ и из окрестных деревень. Мирон Евстигнейч приказал привести к себе Семен Семеныча.

— Что это у тебя?

— Пречистая заплакала.

— Гм... Да это как же?

— Мне еще бабушка говорила: как несчастье какое, так пречистая плачет загодя. И прежде, случалось, плакала. Как умереть моему отцу—плакала.

Мирон Евстигнейч пристально посмотрел на Семен Семеныча. И спросил тихонько:

— А ты... Семка, не врешь?

У Семен Семеныча глаза округлели в испуге.

— Что вы, что вы, Мирон Евстигнейч? Да разве я дозволю? Чудо налицо-с.

И днем Мирон Евстигнейч сам припожаловал, чтобы на чудо поглядеть.

Толпы народа стояли на улице перед избой, стояли на дороге. Слышно было в раскрытые окна, как попы густо пели молитвы в избе. Мужчины сняли шапки, когда Мирон Евстигнейч пробирался через толпу. Женщины отмахивали поклоны в пояс. И в толпе шушукались:

— Сам, сам идет.

В избе народу невпроворот, но Мирон Евстигнейча пропустили к самому переднему углу. Там, на иконнике—древняя, почерневшая, уставного письма, икона. Да, плачет. Семен Семеныч на платочке чистеньком и слезу подал Мирон Евстигнейчу—только что снял,—вот на глазах,—так масляным пятном и расплылась слеза по платку. К самому лицу поднес Мирон Евстигнейч платочек, и пахло на него маслом деревянным. Что же, запах благочестивый, значит, все правильно. И приказал Мирон Евстигнейч отслужить молебен. К вечеру этого дня уже во всей Жгели остановились работы. Тысячная толпа запрудила улицу возле Семен Семенычева дома. Снопам горели свечи перед иконой.

Умильный и встревоженный, вернулся перед полночью к себе в белый дом Мирон Евстигнейч.

— Перед несчастьем плачет. Слышь, мать? Как бы не случилось чего.

А Матрена Герасимовна только стонет:

— Знамо, жди несчастья. Ох, бога забыли. Забыли бога.

Ходит Мирон Евстигнейч по залам, женины вздохи слушает, раздумывает: по какому случаю икона плачет? И как теперь быть с народом? После обеда бабы и на работу не вышли: вроде праздник по всей Жгели.

— А там вас Яков спрашивает.

Это горничная. Удивился Мирон Евстигнейч.

— Чего ему надо? Зови-ка.

Вошел Яшка, с приплясом будто, в глазах бесята бегают. Увидел его улыбку Мирон Евстигнейч, нахмурился.

— Что так поздно?

— К вашей милости. По секрету.

— Ну?

Яшка покосился на Матрену Герасимовну. Хозяин понял.

— Иди сюда.

И увел к себе в кабинет.

— Я насчет чуда этого,—заговорил Яшка.

— Ну?

Яшка улыбнулся хитро и сказал громким шопотом:

— Мошенство это, и боле ничего.

У Мирон Евстигнееча глаза по колесу стали. И рот открылся — глянул черным пятном из под усов.

— Что-о-о-о?

— Так точно, мошенство. Гляжу давеча, а у иконы глазки пропилены... я будто прикладываться, и пощупал. Маслица в ямки наливает Семен Семеныч. В рассуждении того, что в народе волнение может быть, когда объявится, я и пришел вам сказать.

Мирон Евстигнееч стал краснее моркови. И поспешно оделся.

— Идем.

А там, у Семена Семеныча, — все та же толпа. Кое-кто и спать легли здесь. Мирон Евстигнееч — в дом. Старушки какие-то по углам сидят, черные, вздыхают. Увидали хозяина, поднялись, всполошились.

— Ну-ка, старые, уйдите на минуту.

Те со вздохами поплелись в сени. А Яшка — цап рукой за чудотворную. Семен Семеныч вскипел:

— Ты что, дурак?

— Нисколько я не дурак. Вот глядите, Мирон Евстигнееч, вот дырочки прорезаны, а отсюда вот маслице Семен Семеныч пускает.

И правда, на обратной стороне иконы вырезаны ямки вроде рюмочек, и в них — маслице. Мирон Евстигнееч побагровел.

Кулаком из-под низа, прямо в толстый подбородок, долбанул он Семен Семеныча. У того аж все лицо перекошилось и из горла вскрик вырвался: „хеп!“ Семен Семеныч кубарем в ноги.

— Простите! Согрешил!

И злым шопотом зашипел Мирон Евстигнееч:

— А-а! Что ж теперь делать? Делать-то что, негодяй ты этакий? Обман! Всех обманул.

— Я... я все обдумал. Не беспокойтесь... Простите! Я... Вознесется на небо.

Толстый Семен Семеныч ужом вился, бормотал будто в бреду, и кровь из разбитых зубов мазала его подбородок.

— Что ты городишь? Кто на небо?

— Икона-с. Народу можно сказать, — икона вознеслась на небо...

Яшка прыснул в смехе. Мирон Евстигнееч посмотрел на него искоса, а Яшка лукаво:

— Верно-с, самый лучший способ. Скажем, что вознеслась на небо.

Мирон Евстигнееч пальцем в икону:

— Яшка, бери.

Яшка ухватил с лавки тряпку и снял икону. Повернул ее вверх тормашками и насмешливо сказал:

— Эх, масла-то сколько. Куда вылить?

И вылил в цветочный горшок, что сиротливо на окне при- тулился. Семен Семеныч стоял виновато. И на губах улыбка. Мирон Евстигнейч загремел сапогами.

— Ну, хахаль, ты тут вывертывайся. Да смотри! Потом я поговорю с тобой. Пойдем, Яшка.

Яшка икону под пиджак, и оба вышли.

Благополучно прошли сквозь благоговейную толпу, пошли в темь. Яшка спросил:

— Куда ее теперь?

— На чердаке зароешь у меня.

— Хи-хи-хи! На небо вознеслась.

Вдруг Мирон Евстигнейч схватил Яшку за плечо.

— Посмейся, богохульник. Пикнешь еще, пальцем пришибу. Понял? Сволочи! Ты тоже такой, я знаю. Ты на все руки. А-а, что придумал, подлец!

На утро во всей Жгели переполох по случаю нового чуда: икона вознеслась на небо. Все только и говорили об этом. Ночью, когда все спали, она вознеслась.

А еще через неделю, когда все улеглось, Мирон Евстигнейч с глазу на глаз поговорил с Яшкой:

— Ты мне скажи, как догадался?

Яшка засмеялся.

— Очень уж человек Семен Семеныч неблагочестивый. Все за бабами. У таких чудес не бывает. Что, думаю, такое? Пошел. Смотрю—льется масло. Ну, я туда-сюда. А под кроватью у Семен Семеныча целая четверть с маслом стоит. Я опять к иконе. И догадался.

— Ай да голова!

И после, уже без Яшки, другим этак ворчливо, в вместе и гордо:

— Умен, собака!

VI

.. Что же, слезы эти, для кого они фальшивы? Для Яшки, хитреца. Для Мирон Евстигнейча. В Жгели они только и знали тайну чуда этого, потому что месяц спустя Мирон Евстигнейч услал Семен Семеныча в Москву, на службу в амбар, а там приказал прогнать вон. Был слух—запил Семен Семеныч, сбился с панталыку. А Жгель верила вся: чудо было, богородица плакала и, поплакав, вознеслась на небо. А плакала она перед несчастьем.

И что ж сказать? Ранней весной было чудо, а в переломе лета грянула весть: война.

И сразу все в крутяге закрутилось.

Под бабий вой — пронзительный и трепетный — пошли запасные со Жгели, а неделю спустя, пошли ратники, и во сне не выдавшие, что когда-нибудь им придется войну узнать.

Мирон Евстигнееч первые дни „ура“ кричал, на прощанье целовался с солдатами, но уже через месяц, другой увидал, что мобилизации хлынут по делу железными кнутами. Хоть оно там и три четверти баб на заводе, а для войны баба только помеха, но эту четверть, самую-то нужную, вот ее, гляди, живо в отделку отделили. Степан Железный Кулак в первые же дни ушел. Из конторы — человек десять, и бухгалтера Митрь Матвейча тоже взяли — оказался каким-то чином военным.

— Ой, Яшка, гляди, как бы тебя еще не взяли, — пожалел однажды Мирон Евстигнееч Яшку.

— И возьмут, Мирон Евстигнееч, — я уже приготовился. Хоть и один я был у мамыши, а ежели так дело дальше, возьмут.

— А не хочется идти?

— Кому хочется, Мирон Евстигнееч? Глядите, сколько народу пошло, а кто без слез?

Поглаживает бороду Мирон Евстигнееч, хмурый да напористый, сказал сурово:

— Ох, не зря ли войну-то затеяли?

— Пожалуй, что зря, Мирон Евстигнееч. Жили тихо, мирно.

Мирон Евстигнееч косо посмотрел на Яшку, проворчал:

— Вот нас с тобой не спросили, начинать или нет...

К зиме уже дело объяснилось: все на заводе затрещало и закланялось. Главное, товар остановился. Какая уж там Персия, ежели до нашего Кавказа стало труднее трудного добраться?

С двенадцати горнов перешли на четыре, а к лету другого года и еще два горна потушили и бросили. Этим летом и Яшку Сычева взяли на войну. Прощаясь с ним на стеклянной террасе, где в это утро пили чай, расцеловался Мирон Евстигнееч, прослезился даже:

— За сына родного мне был ты. Смотри, вертайся скорее. Я знаю, ты к каждой бочке гвоздь, везде притулишься. Ну, только наше дело не бросай. Ты здесь — маштак.

— Вернусь, Мирон Евстигнееч. Как не вернуться?

И пошел к заводу. Поглядел ему вслед Мирон Евстигнееч — у Яшки новые сапоги поблескивают. Идет паренек и не гнется.

— Вот бы мне сына такого...

Что ж, новый народ, — приучай да посматривай. До всего свой глаз нужен. Сколько раз было: потушат горн не во-время, вся посуда и погибла. Какие теперь обжигалы? По прежним временам, гнать бы в шею, а теперь молчи, терпи и делай, что выйдет.

Одно только и было утешение Мирону Евстигнеечу: на товарец накинуть копейку, другую. Накинешь, оно и не так

гребтятся. Да еще, пожалуй, послушать за всеюношней и обедней старинное крюковое пенье. Гости—реже стали. Жгельские купцы и фабриканты—те, что помоложе—под метлу захвачены войной. Двое Фоминых служат стрелочниками на железной дороге, кого-то улестили. Еремин у воинского начальника в писарях. Воинский сам ездит иногда в Жгель на ереминских тройках в гости. Не делом заняты люди. И Мирон Евстигнеев без причала, в томительном ожидании жил эти годы. А драки... Что же драки? Только ребята теперь и дерутся. Как вечер, слышь—с поляны крик: „давай, давай. Бей немца!“ Задорный крик, да невместно именитому миллионеру на ребят дерущихся глядеть. А взрослые только старики остались да калеки...

Дела во всей Жгели каждый месяц—на убыль. Сколько труб уже стоят, точно мертвые пальцы показывают в небо,—теперь уже ясное, незакопченное. И безлюдье наметилось. Уж не свистели тонко паровозики на Жгельской дороге,—тоже ушли на войну, и рельсы с собой захватили. И самая насыпь, где они ходили, стала зарастать бурьяном. Тогда уж настоящая тревога пришла и к Мирон Евстигнееву.

— Что ж это будет? Когда это кончится?—допрашивал он попа староверского, отца Павла.

А поп—весь лохматый, волосом по самые глаза зарос—бубнит:

— За грехи. Гляди, за грехи. Кому теперь хорошо?

И шопотом этак:

— Предают нас немцам. Царица-то... Был я наемни в городе... Царица с каким-то распутником связалась. Гляди, не к добру.

— Где уж, какое добро?

Зимой пришла весть: царицына распутника убили. В Жгели порадовались. Мирон Евстигнеев молебен отслужил благодарственный.

А в марте—ровно гром:

— Царя-то сверзли!

Матрена Герасимовна от этой вести в постель слегла.

— Последни времена, ежели до царя добрались.

Мирон Евстигнеев ходил хмурый.

— Что-нибудь не так, мать. Ежели сами господа дворяне да князья помогали свергать, значит, дело с царем было совсем швах. Что-нибудь не так.

И вся весна, все лето прошли в томленьях, в неизвестности. Откуда-то пришел приказ: устроить на заводе комитет. За дело взялся было конторщик Похлебкин, забегал, засуетился, но доложили Мирон Евстигнееву. Мирон Евстигнеев позвал Похлебкина, расспросил, как и в чем; и узнав, что комитет нужен для помощи в управлении фабрикой и для защиты интересов рабочих,—сказал Похлебкину раздельно и просто:

— Я тебе, сукин сын, такой комитет дам, до новых венков не забудешь.

И комитет завял. Возмущаясь, Мирон Евстигнееч недели две потом рассказывал знакомым фабрикантам, бухгалтерам.

— А, каков прохвост? Управлять заводом. Моим-то заводом? Да что я, или не хозяин в своем деле?

Служащие угодливо подхихикивали, осмеивали Похлебкина.

— Чего вы его не прогоните?

— По отцу только и держу. А ежели бы не отец, я бы ему...

Но к концу лета с фронта поперли в Жгель солдаты. Крикливые, резкие, требовательные, с пьяными страшными глазами. Приходили в контору, развязные, требовали, чтобы их приняли на старые места. Им говорил бухгалтер:

— Местов нет!

Они шумели, грозили. И раз, когда на шум вышел сам Мирон Евстигнееч, низенький солдатишка, бывший точильщик, закричал:

— Сплататоры! Мы вам покажем! Сами от жиру беситесь, а нам местов нет? Вот мы поглядим.

От злости у Мирон Евстигнееча запрыгала борода. Он рывкнул:

— Вон отсюда! Гоните их в три шеи!

Тут зашумели, загалдели все, и даже смиренные, просившие покорно „работки“. И так в первый раз от века веков стояли они—Мирон Евстигнееч и его бывшие рабочие,—стояли лицом к лицу, злые и упрямые. А конторщики и сам новый бухгалтер Николай Поликарпыч,—правая рука Каркунова—заметались по конторе и вышли во двор, будто бы позвать рабочих, а больше так, от „греха“. Мирон Евстигнееч яростно плюнул и первый вышел из конторы,—и все видели: он качался, спускаясь с крыльца.

Он заметался по Жгели, созвал заводчиков, и в его белом доме—в этот вечер—было сборище и речи:

— Али не мы создавали наши заводы? Али мы теперь не хозяева? С ножом к нашему горлу? Не-ет!

Но чувствовал он: его слушают напуганные люди.

— Не дай бог, что делается на железной дороге,—сказал Фомин,—меня чуть не убили. Ты, говорят, фабрикант, а сам в стрелочники? Беда!

— Претерпеть надо,—посоветовал толстый Еремин,—помолчать, пережить.

— Ага, терпеть? Это при своем-то добре терпеть?—кричал Каркунов.—Та-ак. Нет, вижу, каши с вами не сварить. В случае ежели что, закрою завод и никаких. Издыхайте, собаки! Я... им... пок-кажу!..

Но дни, недели несли новое в Жгель. Больше народа с фронта, больше криков, требований. Мирон Евстигнееч

с'ездил в город, пробыл с неделю, а вернулся мрачнее мрачного и уже не ходил в контору. Все распоряжения—через бухгалтера. Будто хотел спрятаться в белом доме от жизни—непомятой и непокойной.

А осенью поздней, этак уже заморозки ударили, и снег падал,—из уездного города, из Караванска, приехал отряд целый—на тройках, с винтовками, и прямо к Мирон Евстигнейчу:

— На тебя наложена контрибуция. Подавай полмиллиона.
— А-а-а...

Мирон Евстигнейча сразу охватила трясь. Не денег было жалко. Что там деньги? А вот—это бессилие страшнее страшного. По прежним временам крикнул бы:

— А ну, Степка, Микишка, поправьте-ка этим колпаки-то!
И все бы сразу стало ясно.

А теперь: ходят в шапках по всем комнатам, курят, цыркают сквозь зубы на пол, ворошат в комодах, в шкафах. Даже в погреб лазили.

— Тут, гражданин, тысяч на триста не больше. А ты должен уплатить полмиллиона.

Это начальник-то их,—этакий молодой, а лицо зеленое—не иначе из арестантов.

— А где я вам возьму? Мои деньги в банке. Идите да получайте.

— В банке мы без тебя получим. А вот ты здесь еще уплати.

Зуб за зуб, зуб за зуб,—этот, испитой-то, и говорит:

— Что же, поедешь с нами в город, там в тюрьме посидишь.

И в самом деле, после обыска вывели этак перед светом Мирон Евстигнейча из белого дома, посадили в сани и:

— Прощай, Жгель!

VII

Этак года через полтора, перед весной, когда в Жгели не только волки, а и люди воем выли от голодухи,—пришел в Жгель старичишка в рваном полушубке, в подшитых валенках, шапченка рысья, облезлая, с ушами. На седой, всклокоченной бороде у старичишки сосульки замерзли.

И прямо старичишка к каркуновскому белому дому. У дома над белым крыльцом озябший красный флаг висел уныло, и сосновые ветви прибиты к резным столбикам; вдоль дорожки, прямо в снегу, натыканы молодые сосенки. Но видать по молодому нападавшему снегу: давно в доме не было никого. И правда, поднялся старик на крыльцо, а на парадной двери большущий замок висит вроде жука черного. Старик неторопливо обошел дом, заглядывая в окна. От кухни, навстречу ему, выбежала черная собаченка, залаяла. В окне кухни мелькнуло молодое лицо, и только к двери старик,—из двери на-

встречу вышел, ковыляя на костыле, малый в солдатской шинели. Присмотрелся старик—у малого нет левой ноги.

— Тебе кого, дед?

— Да что, в доме-то не живут теперь?

— Не живут. Теперь здесь клуб.

— Кроме тебя, значит, никого?

— Никого. А что? Ты ищешь, что ли, кого?

Старик не ответил. Опустил голову, подумал.

— Та-ак. Значит, никого?

И повернулся, пошел прочь, вниз, к фабрике, занесенной по окнам снегом, молчаливой. Фабричные трубы мертво торчали в небо и на них прилип снег. Сугробы снега лежали у запертых дверей. Маленькая тропка вилась между корпусами. Старик, поскрипывая валенками, пошел по тропке. На крыльце конторы сидел кто-то, закутанный в овчинный нагольный тулуп. Старик подошел к крыльцу, к тулупу. Из тулупа высунулось лицо. Старик присмотрелся и спросил:

— Это ты, Степан?

Тулуп торопливо дернулся, и рукава задвигались быстро, отвернули воротник, и теперь степаново лицо—все такое же рябое, нисколько не постаревшее,—глянуло на старика. Вдруг Степан торопливо поднялся.

— Ми... Мирон Евстигнец!

И оба—старик и Степан—минуту растерянно смотрели один на другого.

— Узнал? Вот и хорошо,—проговорил старик.—В караульщиках служишь? Ну, а мой-то где же? Где Матрена Герасимовна?

И от волнения лицо у старика помертвело, стало желтое, вот упади он сейчас мертвым, ни одна бы черта не изменилась.

— Где Матрена Герасимовна?

Степан смущенно ответил:

— Умерли. Восемь месяцев, как умерли.

Старик опустил голову, смотрел на свои подшитые валенки, похожие на слоновьи ноги.

— Завод отобрали. Их выселили. Имущество взяли. Как же? Бедствовали они, беда как! У отца Павла и померли.

Старик стоял внизу, у первой ступени крыльца, молчал, смотрел на свои валенки. А Степан, с крыльца, сверху, говорил:

— На заводе новые хозяева. Комитет. Как же? Николай Похлѣбкин за главного.

Степан замолчал. Старик все стоял, опустив голову. Потом точно проснулся.

— Так у отца Павла?

Он глянул на Степана. Лицо у него было теперь новое, горячее какое-то, и скулы краснели,—и это было страшно: красное лицо в седой бороде. Он повернулся и, сутулясь, по-

шел прочь, и лез прямо через сугробы, когда вот тропка рядом.

А к вечеру по всей Жгели молнией пронеслась весть:

— Мирон Евстигнейч приехал.

И никто не хотел верить Степану, что Мирон Евстигнейч пришел, а не приехал, пришел вот так, пешком, в подшитых валенках. Вечером к дому отца Павла сходились люди, заглядывали в темные окна, чего-то ждали. Бабы стояли кучками, говорили вполголоса. Сумерки были синие, и по бирюзовому небу плыла, как золотой тонкий кораблик, молодая луна. Луна плыла низко и, казалось, задевает за мертвые мрачные трубы, за длинные крыши, занесенные снегом. И черные люди на белом снегу казались маленькими, покинутыми.

— Може, теперь опять завод пустит?

— Где же пустить, ежели теперь он не хозяин?

— Слышь, и ничего-то нет у него. Валенки-то подшиты за губу. Где это видано, чтобы Мирон Евстигнейч в таких валенках ходил?

— Ну, раз приехал, что-нибудь да будет. Это не спроста.

И Жгель—вся—напряженно ждала, что будет теперь. И за каждым его шагом следила.

— Мирон Евстигнейч панифидку по своей старухе отслужил.

— И-и, постарел! Прямо, можно сказать, хизнул. Борода, бывало, расчесана волосок к волоску, как воротник бобровый, а ныне—вроде свалаялась.

— Мирон Евстигнейч ходил в контору, а Похлебкин ему сказал: „Если ты, гражданин Каркунов, еще раз придешь, я тебя арестую“.

— Мирон Евстигнейч у Панкратьева в гостях был, говорил, что теперь только о душе думает, а не о заводе.

— Мирон Евстигнейч...

И опять тревога капля за каплей в душу каждую.

— Как же теперь? Кто же дело пустит? Говорили эти: „возьмем, пустим“. И не пустили. И этот—старый-то деймон— „об душе думаю“. А нам как же—помирать?

Поселился Мирон Евстигнейч у отца Павла. Ходил с ним в церковь. Или на базар. Или по лесным дорогам ходил один—идет иной раз, старый и мрачный, как неприкаянная совесть.

А Жгель... А в Жгели тишь, как на кладбище. Ни одна труба не дымит. Ни один горн не горит. Кому нужна посуда, ежели есть-то у многих нечего?

Пожалуй, только Похлебкин и храбрился.

— Вот войну с буржуями кончим, тогда и за фабрики примемся.

И Мирон Евстигнейчу про это говорили угодливые люди.

— Собираются пустить.

Мирон Евстигнейч на это мрачно:

— Гляди, пустят. Где же? Не пустят никогда. Чтoб работать, надо любить дело. Бывало, ставишь амбар какой новый,

аль стену какую,—сердцем вот как болишь, будто о дите родном. А здесь—кому это надо об деле сердцем болеть? Дело-то не в войне буржуйской. А между прочим, поглядим.

И словно шипенье чье—вопросы:

— Когда же в обрат-то пойдет? Когда к вам-то дело вернется?

— А вы подите, у Похлебкина узнайте.

И пальцем—к конторе. А голоса угодливо, раболепно:

— Что нам Похлебкин? Пустое помело. Два года только обещают. А нам-то надо жрать, аль нет?

— Вы бы в клуб сходили. Хе-хе! Там бы музыку послушали.

— Музыка. Вот у нас где музыка.

И ладонью себе по животу. А Мирон Евстигнейч, шаркая подшитыми разбитыми валенками, пойдет прочь. Борода седая задвигается от улыбки от радостной. У баб и мужиков лица покривеют от злобы.

— Тоже идол хороший. И говорить не хочет.

— Идол не идол, а все ж, бывало-то, как суббота, так иди и получай. А теперь...

Говорят шелестящими, злыми голосами: вспоминают, как бывало-то... на полтину-то... можно было купить целые полпударжаной муки.

— Полпуда. А теперь за полпуда целый месяц служи и то не получишь.

С весной голод и неурядка подошли к Жгели вплотную. Вот рвануться бы,—а сил нет. Жгеляне ходили „на сторону“, в поисках хлеба колесили всю Россию. Ребятышки и девченки днями целыми бродили по лесам и болотам—грибы искали, ягоды. Прошел слух: можно хлеб печь из моха. Собирали мох, толкли, ели. Пекли хлеб из цветов клевера—„кашки“. Ели грибы, уже не разбираясь в отчаянии,—ядовитый гриб или нет. От гриба-самопляса становились пьяными: угарно хохотали и плясали. У отца Павла не переводилась работа,—едва успевал отпевать.

Мирон Евстигнейч ходил по Жгели—высокий, со всклоченной бородой, в черном длинном потертом кафтане староверском,—низко надвинув картуз на лоб. А глаза—точно угли, раздуваемые ветром.

Порой возле него останавливались бабы, мужики,—теперь уже независимые,—слушали. А Мирон Евстигнейч только спросит:

— Разве я бы допустил, чтобы мои рабочие так бедствовали?

И пойдет—черный, высокий, как столб,—только седая борода болгается спереди.

Зима надвинулась страшнее страшного. Запели вьюги, занесли Жгель по самые крыши, закрыли все дыры-прорехи,—все стало белым, мягким,—только мертво торчали мертвые трубы.

А дым, копоть бывалые—где же? Только из труб избяных тощенькие дымочки, ленивые.

Мирон Евстигнеев все ходили и ходил, мрачный, между корпусами. Подходил к белому дому своему старому. Облетели сосенки; сник и разорвался флаг над парадным крыльцом, так и висел разорванный в ленты. Кто-то высадил все стекла на террасе. В этом году клуб не открывался, даже хромой инвалид исчез куда-то. В конторе заводской три человека—в шубах, валенках и шапках—сидели час, два в день перед толстыми книгами, говорили между собой лениво. А за корпусами—из штабелей—жгеляне безоглядно тащили доски, дрова, торф. Забирались через разбитые окна и в самые корпуса, тащили ремни, гайки, болты.

Вечерами, в определенный час, в тулупе нагольном, выходил Степан на тропку и медленно брел вокруг корпусов. По ночам никто не ходил воровать, потому что жгеляне боялись степановых крепких кулаков. Воровали только днем,—открыто. Днем Степан спал.

Как-то февральской очень лунной ночью Степан услышал: за лесом звонит колокольчик. Степан остановился, сдвинул с уха шапку, чтобы не мешала слушать. Колокольчик ближе, ближе, и из леса выехала по дороге черная лошадь с черным возом. Лошадь под'ехала к заводскому крыльцу. Степан строго спросил:

— Кого надо? Куда едешь?

С облучка слез ямщик, весь заиндеветый, сказал:

— Сторож, что ли, ты? Начальника вам привез нового. Принимай.

И, обернувшись к саням, сказал:

— Ну, Яков Микифорыч, вылезай.

В возу зашевелилось, и кто-то, закутанный в тулуп, вылез, отвернул ворот, сказал:

— Э-э, все мертво. Что ж свету-то нигде нет?

Степан хмыкнул:

— У нас, поди, года два свету нет.

Закутанный в тулуп, стуча сапогами, седок поднялся на крыльцо. Скрипнул дверью, отворяя.

— Что, заперто здесь?

— Не заперто. Заходи. Да оно, все одно, что здесь, что там,—одинакова сласть—волков морозить. Не топят у нас.

И, понизив голос, Степан сказал:

— Поди-ка, попляши в сапогах-то.

И засмеялся. Ямщик сказал, тоже смеясь:

— Он и дорогой-то ежился. Все спрашивал, скоро ли доедем.

— А чей такой?

— А пес его... Меня по наряду из Синюшкина взял. Ваш чей-то. Сычевым прозывают, Яков Микифорыч.

Степан встрепенулся.

— Яков Сычев?!

И побежал в дверь.

Через полчаса—на кухне в белом доме топилась плита, а возле нее сидел Яков Сычев, и, положив ноги на дверку духовки, грелся, расспрашивал.

Степан неуклюже говорил:

— Умерли. Ушли. Убежали. Только губахтер здесь. И Мирон Евстигнейч.

И подивился Степан: приехал ночью, в мерзлых сапогах, чудной такой... а говорит: „Поставлю завод“.

Зашумела, загудела Жгель, когда утром прошла весть из избы в избу:

— Рабочих собирают на завод.

Приходили к конторе толпами. Правда, на дверях записка: „С первого числа будет производиться запись“.

А глянешь в окна,—там и старый бухгалтер Матвейч на месте, и два конторщика, и сам Яков Сычев, тот прежний Яшка. Только не такой верткий, и уже собачьи морщины у него по сторонам рта, и стрижен по-солдатски.

— Ай-да Яков, гляди, в тузы полез.

— Это и раньше было видать,—до хороших делов дотянется.

Стояли долго. Хотели зайти в контору спросить, правда ли, пойдет завод, но, помня строгие каркуновские времена, стеснялись, посылали один другого. Но Сычев сам вышел. С крыльца заговорил:

— ... Поставим. Поведем. Спасем...

И после, когда расходились, видели: к конторе шел и сам Каркунов.

Что было в конторе,—бухгалтер и конторщики рассказали своим женам, а жены соседкам, и вся Жгель узнала.

— Пришел, и прямо к Сычеву. «Здравствуй, Яков». «Здравствуйте, Мирон Евстигнейч. Очень рад, что вы пришли. Хотел к вам пойти. Спецы на заводе нам нужны. Не поможете ли нам в деле?»—«Это как же надо понимать?»—«Завод в ход пускаем. Помогайте. Теперь все заводы в республике решено пустить».—Аж сел Мирон Евстигнейч.—«Чтобы я, говорит, хозяин истинный, да пошел помогать вам? Никогда!» А Яков ему: «Не хотите помогать—скатертью дорога».

К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знакомый басовитый гудок. Лентой—не очень плотной, не такой, как бывало, а все-таки лентой, пошел народ к заводу. Дня через два, вечером, над крышами здания загорелся и зашумел белый ровный огненный столб. Два с половиной года таких столбов Жгель не видала...

А через месяц, в воскресенье, в ограде староверской церкви хоронили Мирона Евстигнейча. Небольшая толпа собралась у

могилы. Отец Павел и начетчики пели уныло и монотонно. Под их пение старики в черных кафтанах поставили гроб на веревки и стали спускать в могилу. Толпа усиленно закрестилась.

— Готово?

— Готово. Стоит. Вынай веревки!

Слышно было, как зашуршали веревки о гроб.

— Вечная память. Вечная память. Вечная память!

Отец Павел нагнулся, поднял горсть свежей земли и бросил в могилу. Еще нагнулся и бросил. И еще. Тогда вся толпа, толкаясь, зашуршала, бросая землю горстями в могилу.

Потом заработали лопаты, и комья стали падать на гроб, глухо стучая.

— А-а, человек-то какой был.

— Ждал, ждал, что вернут,—не дождался. Как пустили завод, так сразу и сломился.

— Заговариваться стал. Ходит один, и вот говорит, вот говорит.

— Не по нутрю было.

— Знамо, не по нутрю. Ты гляди, какой властный был, а тут в ничтожность какую произошел. Кому ни доведись.

— И поминок-то не будет, говорят.

— Какие поминки!

— Жил, жил и умер...

— И-хи-хи, жисть наша.

— А молодые-то никто не пришел. Старые только...

— Куды молодым! Молодые вон в мяч побежали играть. А которые на огороды. Им некогда.

— И никому невдомек, что хозяин помер. Другой народ пошел.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ.

Черный ветер.

*Красной армии посвящает
эту повесть автор.*

(Повесть).

I

Андрей Пажитков руководил большим военным партизанским отрядом. Несколько лет изнурительной гражданской войны рабочий Пажитков провел вместе с своей вооруженной ватагой среди холмов, долин и лесов Харьковщины, Полтавщины и Черниговщины. Как взрыв бомбы, почти всегда неожиданно и почти всегда смертоносно, с железом и пламенем, врывается Пажитков с своим отрядом в гущу белых то на Дону, то на Кубани, сокрушая и приводя в панику отряды Краснова, Корнилова, Каледина, Богаевского. Потом он был послан на борьбу с бандитскими шайками.

Пажитков захмурил, ожесточился, оброс жесткой щетиной волос, приобрел каменный взгляд и каменный характер. Голос, от митингов и от команды, от едкой дорожной пыли и от осенних ветров, у него стал сиплый, немного приглушенный. Его сухощавая фигура в кожаной куртке и в высоких охотничьих сапогах казалась вылитой из чугуна.

Полукругом идет по холму железная дорога, а в котловине поблескивает церквями город. Отряд Пажиткова квартирует в городских жилищах. В штабе сидят шесть человек. На большом столе развернуты карты-двухверстки, на картах—пометки: цифры и стрелки.

— По приказу Реввоенсовета с бандой мы должны покончить в две недели. Военный консультант Радужный, слово предоставляется вам.

Военный консультант из старых кадровых офицеров, генштабист, привстал и изящно изогнулся, отпятив зад.

— При удаче—можно. Только не нужно торопиться.

— Есть приказ!

— Ну, ничего, если на одну недельку и запоздаем.

— Нельзя!

Двое политработников дали сведения о том, что в городе отряд ведет себя хуже, чем во время походов.

— На митинги силом не загонишь. Литературу не читают. Шатаются по кинематографам да ищут баб.

— Изголодались,—сказал Радужный.

— Надо наступать, пока совсем не разложились,— подумав, сказал Пажитков.— А то мы сами скоро превратимся в бандитов.

Радужный улыбнулся:

— Только в красных бандитов...

— Ну—да. А пока у нас еще большой авторитет. Наши соломины без спросу не тронут.

— А насчет баб?

— Заявлений об изнасиловании не было. А за добровольное соглашение,—Пажитков едва заметно улыбнулся,—мы не несем никакой ответственности.

— И выпивать начали,—сказал политработник.

— Надо наступать!—решительно повторил Пажитков.—Мы потеряем здесь половину отряда.

Двое других членов штаба—старые товарищи Пажиткова, оба, как и он, рабочие с московских заводов,—все время молчали. Они верили Пажиткову и только изредка вставляли свои замечания—всегда дельные и простые. Эти замечания Пажитков ценил больше, чем пространные выкладки и рассуждения Радужного.

— Ваше мнение, т. Мухин?

— Наступать!—коротко отозвался рабочий.

— А ваше, т. Васильков?

Рабочий Васильков—детина большого роста, рыжий, застенчиво улыбнулся:

— Что меня спрашивать? Вы же знаете, что я всегда за то, чтобы наступать.

Пажитков улыбнулся. На заседаниях штаба он говорил „вы“ даже своим друзьям; так выходило серьезнее и ставило всех на одинаковую ногу. Радужному он всегда говорил „вы“.

— Завтра наступаем!—приказал Пажитков.—Заседание штаба закрыто. Давайте пить чай.

II

Наступление кончилось удачно. Отряд Пажиткова захватил почти врасплох весь отряд бандитов, скрывающийся в небольшом уездном городке, верстах в тридцати. Часть бандитского отряда разбежалась, больше половины, после длительного утренного боя, было взято в плен.

В плен был взят и главарь бандитской шайки Кучумов с тремя своими помощниками и двумя шпионами, которые

раньше были в отряде Пажиткова и однажды вдруг исчезли неизвестно куда.

— Что мы будем делать с этой сволочью?—спросил Пажитков на заседании.

— Расстрелять,—равнодушно сказал Радужный.

Васильков и Мухин отрицательно покачали головой.

— Послезавтра здесь будет военный трибунал,—сказал Васильков и, как всегда, покраснел от непривычки говорить на заседаниях.—Их надо судить...

— Без военного суда теперь нельзя расстреливать,—подтвердил Мухин.—Есть декрет. Для чего же тогда воентрибы?

— Позвольте, товарищи!—возразил Радужный.—Кучумов с своей бандой давно объявлен вне закона. Мы обещали щадить только тех, кто сдает нам свое оружие.

— Кем это объявлено?—спросил Мухин.

— Нашим штабом.

— Этого мало. Есть власти постарше. По-моему, надо дожидаться воентриба.

Пажитков задумался.

— Шпионов мы всегда расстреливали.

— Р а н ь ш е,—сказал Васильков.—Теперь не война, а ликвидация банды... Без воентриба нельзя расстреливать и шпионов.

— Пустяки!—разгорячившись, крикнул Пажитков.—На этот раз я не послушаюсь вас, дорогие товарищи. Постановляю: Кучумова с его ближайшими помощниками и обоих шпионов—расстрелять. Мне вверено командование отрядом, моя диктатура над этой сволочью. Кто не соглашается—пусть пишет на меня донос.

— Правильно!—сказал Радужный.

Васильков сидел с кумачевым лицом. Поднялся.

— Андрей...

Он не мог говорить от волнения.

— Андрей... ты не можешь нас оскорблять... Ты знаешь?..—Он с силой стукнул кулаком по столу. Стоявшая на столе чернильница, подпрыгнув, упала на бок, скатилась на пол и разбилась.

— Не буянь!—коротко приказал Пажитков.

— Буду буянить! Ты родного моего отца зарежь,—я на тебя доносы писать не стану. К-как т-ты мог?!

Согнувшись, он выскочил на улицу. За ним вскоре ушел и Мухин.

Этой ночью Кучумов с своими тремя помощниками и двое шпионов были расстреляны за городом и зарыты в овраге.

III

Военный трибунал, выслушав объяснения Пажиткова по поводу расстрела Кучумова, его помощников и двоих кучумовских шпионов, нашел эти объяснения неудовлетворительными.

— Вы должны знать, товарищ, что политические процессы, кроме всего остального, имеют громадное агитационное значение. Мы не мстим, мы уничтожаем вредный элемент с согласия и при моральной поддержке трудящихся.

Председатель военного трибунала—старый революционер, большевик, у которого не было личной жизни и личных интересов, не связанных с интересами партии и революции,—Михаил Петрович Гарусов,—говорил всё это с печальным укором.

— Но раньше... — сказал Пажитков. — Разве это в первый раз?

— В острый период гражданской войны,—ответил Гарусов,—смешны всякие юридические и правовые нормы. Тогда нужна быстрота обороны и решительность. Теперь мы победили. Эту победу надо закрепить поддержкой и сочувствием рабочего класса и всех трудящихся. Под нашим руководством рабочий класс победил,—наши действия были правильны. Вот что надо закрепить в создании пролетарских масс. А закрепить это можно только широкой оглаской наших действий и действий наших врагов. Вот где заключается великий смысл всех политических и иных наших процессов.

Пажитков молчал. Несмотря на простоту и ясность доказательств Гарусова, он считал свое решение правильным.

— Нельзя же было оставить жить такую... сволочь!—крикнул он разгорячившись.

— Почему?—спокойно возразил Гарусов.—Если бы Кучумов за несколько недель до своего конца раскаялся и сдал нам оружие, мы бы, наверное, простили его. Мы не хотим проливать крови трудящихся, а ведь в его банде было большинство крестьян. Кучумов и сам из простых казаков. Это просто темные люди, разнузданные старым воспитанием, старым бытом. Им нужна азбука, они бы могли быть неплохими членами нашей трудовой семьи...

Пажитков засмеялся.

— Откуда такая нежность к бандитам?

— Не нежность, товарищ. Такое отношение вытекает из того факта, что мы победили. Лишняя капля крови теперь—преступление. Тебе придется держать ответ перед военным трибуналом.

— Хорошо, я отвечу,—с мрачным спокойствием сказал Пажитков.—Судите.

IV

Военный трибунал судил Пажиткова в губернском городе. Двери судебной залы были открыты, и на процесс собрался весь отряд Пажиткова и большое количество крестьян и рабочих.

Председательствовал Гарусов.

Обвинительный акт занимал всего две странички, в которых с необычайной ясностью и простотой было изложено преступление Пажиткова, нарушившего декрет и превысившего свои полномочия. Свидетели—весь штаб отряда Пажиткова.

Мухин и Васильков при показаниях скрыли, что они отговаривали Пажиткова, и определенно выражали намерение разделить с ним его участь. Радужный дал туманные показания, из которых можно было сделать вывод, что он был единственный, который не соглашался с постановлением Пажиткова о расстреле бандитов и шпионов. Политработники поддерживали Пажиткова, ссылаясь на обстановку.

Сам Пажитков от защиты отказался.

— Я действовал по своей революционной совести. Если виновен—судите, никакой защиты мне не надобно.

Трибунал ушел на совещание. Он совещался около двух часов, и во все это время в судебном зале стояла жуткая тишина. Бойцы из отряда Пажиткова были уверены, что оправдают их командира. Не верили в это только Васильков и Мухин и двое политработников.

В зале была сырость и удушливый чад от украинской махорки. На улицу не хотел выйти никто, боясь прозевать чтение приговора.

Когда члены трибунала вышли и разместились по своим стульям, тишина стала еще напряженнее.

— Прошу встать,—сказал Гарусов, хотя в зале не сидел никто.—Именем...

Военный трибунал приговорил Пажиткова за нарушение декрета и за превышение власти к тюремному заключению на восемь месяцев.

— Неправильно!—рявкнул отряд.

— Тише.

— Неправильно! Надо в Москву!

— Тише.

Пажитков стоял бледный, с пылающим взглядом. Сунув в карманы стиснутые кулаки, он вышел. За ним вышел его штаб и весь отряд.

— Вы не волнуйтесь, товарищ,—говорил Радужный, идя рядом с Пажитковым.—Я поеду в Москву, добьюсь приема у Троцкого, объясню все. Я уверен, что приговор будет отменен.

— Ах, не в этом дело,—отмахнулся Пажитков.—Дело не в том, что Троцкий отменит, он не может отменить,—а в том, что осудили... в том, что осудили меня... в том, что меня осудил Гарусов. А я его знаю...

И, стиснув до боли зубы, он простонал:

— Да нет же! Я—не виноват!

— Конечно, не виноват!—подтвердил Радужный.—Вы напишите письмо, я отвезу его Троцкому, сам объясню. Приговор должен быть отменен.

— Письмо?..—рассеянно спросил Пажитков.—Да, письмо. Вы когда едете?

— Как выхлопочу отпуск. Мне уже обещали. Наверное через пять-шесть дней.

— Хорошо, я дам вам письмо к жене. Отвезите и разъясните ей, в чем дело, а к Троцкому не ходите. Гарусов, вероятно, прав, но я этого не принимаю. Впрочем, может быть, я напишу и Троцкому.

V

Очувтившись в одиночке, Пажитков опустился на привинченную около стола скамейку, прислонился к стене и мгновенно заснул. Волнения этих дней сильно расшатали нервы: он не спал несколько ночей. Теперь наступила реакция, и он опустился в сон, как камень в воду.

Он спал почти целые сутки. Тщетно будили его надзиратели, когда приносили пищу. Потом вызвали доктора.

— Что ж, ничего особенного,—сказал доктор, прислушавшись к спокойному, мерному дыханию Пажиткова.—Переутомился—и заснул. Проснется—попросит есть.

Пажитков проснулся на другой день в полдень и попросил есть.

— Какое сегодня число?

— 21-е сентября.

— Хорошо. Вчера—20-е. Приговор—18-го. Сколько я спал?

— Почти сутки.

— Хорошо. Дайте есть и принесите книг.

— Поешь и пройдешь в библиотеку. Там отберешь сам,—сказал надзиратель.

Это был старый человек, из крестьян. В надзиратели его загнала нужда еще лет пятнадцать тому назад, когда он возвратился после солдатчины и вместо семьи и хозяйства нашел у себя в деревне одни истлевшие головешки да две могилы на кладбище—жены и дочери.

— Как тебя звать?

— Науменко.

— Ох, как я хочу жрать, Науменко!—потягиваясь, сказал Пажитков.—Чем тут у вас кормят? Наверное, гадость какая-нибудь?

— Нет, ничего... живем. Я вот тоже на тюремной пище, а—не подох. Человек ко всему привыкает.

— Нет, Науменко, не ко всему...

Пажитков ел тюремную пищу с охотой, почти с наслаждением. Она показалась ему необычайно вкусной. Еще дня за два до суда, а затем после суда, он не ел ничего, и только теперь почувствовал голод.

Пообедав, он прошел в тюремную библиотеку и выбрал несколько книг по политической экономии.

— Взяли бы вы беллетристики,— посоветовал библиотекарь из заключенных.

— Не люблю,— коротко ответил Пажитков.

Первые дни он только читал, ел и спал. Мозг затих, словно притаился. Но через неделю книги летели в угол. Сначала пришли тяжелые думы, потом откуда-то из глубины поднялось мучительное, молчаливое бешенство.

— Меня, который все четыре года провел в огне гражданской войны,— меня осудить?! Нет, это—вопиющая несправедливость!

Чтобы отвлечься от постоянных мучительных дум об этой несправедливости, которую допустил по отношению к нему военный трибунал и его старый друг Гарусов,— Пажитков стал думать о жене, которую не видал около двух лет.

С женой у него было не все благополучно. С первой женой—из простых работниц,—он разошелся еще до революции. Это была женщина религиозная, больная, насыщенная предрассудками, всегда грязная. Пажитков женился на другой, на жене офицера, убитого на войне,—Аглае Григорьевне Зубовой.

Он прожил с нею год—до мобилизации на фронт, и затем наезжал в Москву на несколько дней и снова гнал на фронт.

В последний приезд ему казалось, что встретила она его не так, как встречала раньше. Увидел легкомысленные наряды... крашенные губы, пудру, духи, одеколон... конфеты.

Когда Пажитков заговорил об этом, Аглая посмотрела на него холодным, отчужденным взглядом.

— Женщина должна быть абсолютно свободной.

— От „абсолютной свободы“,— сказал Пажитков,— недалеко до свободы проституировать.

— Андрей...

— Нет, ты смотри. Я тебя ничем не связываю, ты это знаешь, но надо разойтись прежде, чем я лягу в лечебницу для венериков.

— Слушай,— сказала Аглая, побледнев.— В чем ты меня подозреваешь?!

— Я не подозреваю, а предупреждаю. Давай кончим этот разговор.

Разговор был кончен, но от этого отношения между ними не улучшились. Пажитков уехал на фронт и не ездил к жене около года, но переписывались часто.

— Странно, что я раньше не думал об Аглае. И обидел тогда я ее зря. Радужный привезет письмо—и все уладится.

VI

Радужный приехал в Москву в начале октября.

Разыскав Аглаю Григорьевну, он передал ей письмо от Андрея.

Был пасмурный осенний день. На улице висел серый полог измороси, лениво цокали по мокрой мостовой редкие извозчичьи лошади, и это монотонное цоканье гулко доносилось в третий этаж, где жила жена Пажиткова.

Жила она в Брюсовском, недалеко от Тверской, у своей матери. Две комнаты занимала она, одну—мать и маленькую полутемную комнату около кухни—старушка-прислуга.

Радужный пришел к Аглае вечером.

Она сидела за столом в домашнем капоте, положив ногу на ногу, и курила, картинно отводя руку и оттопырив мизинец.

С другой стороны стола сидел гражданин спекулянтского вида, лысый, с красным одутловатым лицом. Около него были тарелки с закуской и бутылка с какой-то алкогольной жидкостью.

— Позвольте представиться... военный консультант при отряде вашего мужа, Викентий Викентьевич Радужный.

Аглая ласково улыбнулась.

— Очень рада. Позвольте познакомить: Моисей Соломонович Диц.

— Радужный.

— Прошу садиться.

— Мерси. Я привез вам письмо от мужа.

Радужный передал письмо. Аглая небрежно помахала письмом, как веером, и положила себе под локоть.

— Как Андрей?

— Ничего... Расскажу потом. Впрочем, вы многое узнаете из письма.

— Вы где остановились, Викентий Викентьевич?

Радужный в отчаянии развел руками.

— Вы знаете—это мое несчастье. Я—киевлянин, в Москве у меня—ни единой знакомой души... Общежития все переполнены. Сегодня мотался целый день, и—никаких результатов.

Аглая загадочно улыбнулась.

— Чаю хотите?

И, не дождавшись ответа, она крикнула, повернув лицо в ту сторону, где была кухня:

— Аграфена Ивановна, вскипятите чай!

Когда бутылка была пуста,—теперь пили все трое,—Диц спросил:

— Может быть, еще?

Аглая вопросительно взглянула на Радужного.

— Я не могу много пить,—сказал он, отвечая на ее взгляд.— И потом я очень переутомился с дороги, боюсь запьянеть...

— Не надо, Моисей Соломонович. До завтра.

Диц исподлобья взглянул сначала на Аглаю, затем—на Радужного и стал прощаться.

Когда он ушел, Аглая сделала презрительную гримасу:

— Ужасно надоел мне этот спекулянт!

— Что же вас связывает?—просто спросил Радужный.

Она пожалала плечами.

— Ничто, конечно. Ходит каждый вечер, смотрит в глаза, словно прощения просит, молча напьется водки, извинится—и уйдет.

— И только?

— И только.

Радужный поверил. Он, изголодавшийся в походах по женщине, теперь поверил бы, наверное, проститутке с Тверского бульвара. И сейчас ему было приятно, что между Аглаей и Дицем „нет ничего“.

Пили чай при неловком молчании. Оба думали об одном и том же, о чем нельзя было говорить.

Чтобы нарушить молчание, Радужный начал рассказывать об Андрее. Аглая слушала рассеянно. Письмо все еще лежало у нее под локтем.

— Что же вы намерены тут делать?

— Пойду к Троцкому. Попрошу дать записочку, чтобы меня приняли в военную академию. Я хочу работать серьезно.

— Как же будете жить?

— Как-нибудь...—Он улыбнулся.—У меня кое-что приколпено.

Часа в два ночи Радужный начал медленно собираться.

— Ну, я пойду. Разрешите к вам заходить.

Аглая молчала и улыбалась.

— Конечно, конечно.

Радужный одел фуражку, потом снял и снова надел.

— До свиданья.

Аглая протянула руку.

И только у дверей, провожая его, она спросила со смехом:

— Куда же вы пойдете-то, чудака-человек?

— А так, на улицу...—жалобным голосом ответил Радужный.

Аглая хохотала.

— Бросьте, куда вам итти. Не изверг же я, чтобы отпустить вас, такого усталого и несчастного, ночью в слякоть на улицу. Оставайтесь ночевать. У меня есть свободная комната.

Радужный был на вершине блаженства.

VII

— К чорту! Я убегу.

И Пажитков начал вырабатывать план побега.

Науменко, с которым он подружился и который давно уже привык подрабатывать себе на старость посредством передачи

записок от заключенных на волю, и с воли—заключенным,—обещался доставить письмо Василькову.

Письмо было доставлено. На другой день Науменко принес ответ.

Васильков и Мухин в самых решительных выражениях отговаривали Пажиткова от побега, предлагая дождаться решения центра.

— Пока центр решает, я буду сидеть и отсижу весь срок. И важно совсем не то, что центр отменит, важно то, что осудил Гарусов. Надо ему доказать...

Пажитков послал второе письмо, спрашивая—можно ли рассчитывать на помощь Мухина и Василькова в устройстве его побега.

Мухин и Васильков ответили решительным отказом.

— Ну, и черт с вами!—бесился Пажитков.—От предателей ничего другого я и не ожидал.

Он написал письмо рядовому бойцу из своего отряда Гавриле Самойленко.

Гаврила Самойленко ответил в тот же день, что он с товарищами в любой момент разнесет всю тюрьму и освободит „своего любимого вождя трудящихся масс“.

— Вот это—дружба!—с восторгом кричал Пажитков.—Это тебе не Гарусов с Васильковым! Это тебе не мямля Мухин! Тут—огонь...

Переписка сделалась регулярной. И однажды вечером, когда в городе собралась партийная конференция рабочих и красноармейцев, в тюрьму пришел красноармейский наряд с приказом Гарусова о немедленном освобождении Пажиткова. Начальником наряда был Гаврил Самойленко.

Пройдя улицу от тюрьмы, приятели расцеловались.

— Как же это ты устроил?

— А так... писарь. У меня везде—друзки. Сделают!

— Подпись подложная?

— Да, но сделано так чисто, что сам Гарусов не откажется. Со всеми закорючками—разлюли малинка-ягодка...

Пажитков очень волновался.

VIII

Аглая и Радужный строили планы своей будущей совместной жизни.

В комнате было холодно, и из-под теплого одеяла виднелись только две пары глаз, пара носов и белые от долгого лежания лбы.

— Ты, Вика, сделаешь карьеру—я в этом уверена,—говорила Аглая.—Я тебя поддержу. Пока кончаешь академию, я буду содержать хозяйство... Ты не беспокойся.

Из-под одеяла шел густой добродушный смешок.

— Ты думаешь, что я поступлю к тебе на содержание, Адя?.. Это было бы очень пикантно: Радужный поступил к женщине на содержание... Ха-ха. Нет, родная, у меня кое-что есть и будет. Есть кое-какое золото, бриллиантишки...

Поцеловавшись, они с минуту молчали, ни о чем не думая.

— Как же с Андреем?—тихо спросил Радужный.

— А никак,—спокойно ответила Аглая.—Женщина должна быть абсолютно свободной.

— Но если он явится?

— Я скажу, что ты снимаешь комнату, потому что нигде не мог найти пристанища. Он не будет против.

Радужный молчал: „А ведь нехорошо вышло!“

Был уже двенадцатый час. Аглая должна была притти на службу к 10, но она не торопилась. На службе у нее с начальством были такие же хорошие отношения, как и с спекулянтом Дицем.

IX

Пажитков уговорился встретиться с Самойленко в лесу, верстах в пяти от города.

Самойленко должен был собрать всех единомышленников Пажиткова и привести их к нему.

На другой день ночью начали стекаться к Пажиткову группы вооруженных людей, в десять, пятнадцать человек.

Самойленко сосчитал и доложил Пажиткову:

— Триста двадцать семь человек, товарищ начальник.

Пажитков сидел в шалаше и беспрестанно курил.

— Хорошо, Самойленко. А Василькова с Мухиным нет?

— Никак нет, товарищ начальник.

Самойленке хотелось быть адъютантом Пажиткова и поэтому он немного заискивал и прислуживался.

— Наши дела не совсем хороши.

— Бросьте, товарищ начальник. За нами пойдет вся округа...

— Против кого пойдет?..

Слово, которое старательно замалчивалось, было сказано. И как только оно было сказано, стало как-то легче, определеннее.

— Против них? против Гарусова? против революции?

Самойленко словно подслушивал его мысли. Бросив заискивающий тон, он ласково похлопал Пажиткова по плечу:

— Не надо терзаться, Андрей Егорыч. Мы ведь будем держаться только до решения центра, чтобы не дать тебя посадить в тюрьму. Мы же ведь не контр-революционеры и не бандиты какие-нибудь. Этому в этих краях никто не поверит, не поверят и в центре.

— Как знать...—тихо произнес Пажитков.

— Не поверят...

На заре было устроено собрание всех прибывших. Налицо оказалось четыреста восемьдесят два человека, столько же винтовок, два пулемета, хороший запас пулеметных лент, бомбы, револьверы, сигнальные ракеты и другое нужное военное имущество. Среди пришедших было много таких, которых никогда не видал Пажитков в своем отряде.

В первый же день образовалась группа анархистов, отколовшихся от Махно, группа левых эсеров и какой-то „Роскреп“—российская крестьянская партия—насчитывавший 12 человек.

Собрание вышло неожиданно бурным. Те, кто пришел к Пажиткову, имели более широкие и решительные планы. Большинство предлагало сейчас же открыть поход на город, чтобы сместить партийный комитет, переменить состав военного трибунала, а командование над всем гарнизоном и действующими в районе красноармейскими частями вручить Пажиткову.

Пажитков слушал эти горячие речи с печальной улыбкой. Он понял теперь, что в горячности своей зашел слишком далеко.

— Позвольте мне слово!

Все затихли. Пажитков влез на пень.

— Товарищи, вы все очень плохо разбираетесь в том, что происходит с нами. Если не объявили сейчас, то завтра всех нас непременно объявят бандитами и двинут против нас всю свободную вооруженную силу, какую они имеют. Над нами занесен топор...

— Не боимся!—рявкнула толпа.—Идем на город!

— Нет, на город мы не пойдем. Я никогда не соглашусь пролить ни одной капли крови своих товарищей. Единственно, что мы можем—это выжидать. Я с товарищем Радужным две недели тому назад отправил в Москву письмо...

— Будем выжидать.

Настроение упало. После собрания отряд начал строить шалаш и рыть землянки, потому что ночи становились холодными.

Часть отряда отправилась в ближайшие деревни за провизией. Денег ни у кого не было; могли бы взять кассу отряда, но на этот шаг Пажитков не дал своего согласия. И только когда Самойленко с группой отрядников вернулся из деревень с провизией и лошадьми, обнаружилось, что, несмотря на запрещение Пажиткова, касса отряда все-таки была взята.

— Мы — погibli!—сказал печально Пажитков, узнав о кассе.

Самойленко в недоумении пожал плечами:

— Без денег все мы передохли бы в первую же неделю. Или пришлось бы грабить крестьян и поезда. Тогда бы мы действительно превратились в настоящих бандитов...

— Верно,—подумав, сказал Пажитков.

Теперь у него уже не было своей воли. Им управляла другая сила, противостоять которой он не мог.

X

Партийный комитет вынес постановление: не дать разрастись банде Пажиткова и ликвидировать ее военными силами в возможно кратчайший срок, самого же Пажиткова объявить вне закона.

В это же утро были напечатаны соответствующие постановлению прокламации, а к полудню полк красноармейцев под командой Гарусова двинулся на поимку и уничтожение пажитковской банды.

В полку Гарусова было сильное партийное ядро. Тут были и хорошие бойцы, и командиры, и испытанные дельные агитаторы.

Выступал полк из города осторожно, по взводам, с таким расчетом, чтобы к ночи быть на месте и, окружив банду Пажиткова, взять ее живьем, по возможности без кровопролития.

Гарусов шел в голове полка. Он считался опытным командиром в партизанских боях, и только несколько месяцев тому назад, чтобы дать ему некоторый отдых, его назначили на более спокойную должность председателя военного трибунала.

Руководить действиями против Пажиткова Гарусов вызвался сам.

Но Гарусов слишком высоко ставил свои силы. Зная Пажиткова, он был уверен, что Андрей не дойдет до того, чтобы дать сражение красноармейцам — своим же недавним товарищам по отряду. „Я его уговорю! За вспышку ему, конечно, придется терпеть наказание, но с этим уже ничего не поделаешь. Виноват сам“.

Однако, банда Пажиткова дала Гарусову бой в это же утро. Небольшая часть красноармейцев из его отряда перешла к Пажиткову добровольно, часть была взята в плен, некоторые убежали, другие были убиты и ранены. Гарусова, тяжело раненого, спасла только случайность: он долго просидел в лесу в волчьей яме и только с наступлением темноты, полуживой, добрался до хутора, а оттуда его на подводе отправили в город.

XI

Быстрая и легкая победа дала отряду Пажиткова новый приток бандитов.

Самойленко после Андрея был главным лицом.

Смелый в решениях и необыкновенно распушенный и жестокий, он подчинил своей воле и самого Пажиткова, переживавшего тяжелую внутреннюю борьбу.

Самойленко, разгоряченный легкой победой, требовал наступления; ему нужен был триумф. Требовал наступления и отряд, который морально разлагался с каждым днем сильнее и сильнее.

Уже в первую неделю до Пажиткова начали доходить сведения, что некоторые из его отряда занимаются грабежом в окрестных деревнях. Потом пошли слухи о насилиях над женщинами.

— Как странно и нелепо я погиб!.. — думал Андрей. — Неужели погиб? Не может быть...

Отряд стоял в лесу, верстах в восьми от села. Село было большое, зажиточное, но сильно изнуренное продолжительной партизанской войной, в которой участвовали почти все взрослые. Теперь село успокоилось и приступило к мирному труду. Это село, боровшееся и против немцев, и против Скоропадского, и против петлюровцев, и против Махно, и против советской власти, теперь успокоилась на том, что советская власть победила, окрепла и стала твердой, настоящей властью, как говорили сельчане. Теперь надо было поправлять расшатанное и ограбленное хозяйство, надо было собирать развешанное добро.

— К чорту, устали! Пора полежать у бабы на белом рукаве. Собака — и та спокой знает.

Спокойно и ровно шла желтая осень. Опали листья с деревьев, на поля легли жирные туманы, потом настойчиво заморосил дождь.

— Надо на зимние квартиры, — сказал Самойленко Пажиткову.

— Стоит ли? Нам не продержаться и двух недель.

Самойленко густо захохотал.

— Две недели!.. Да мы к рождеству Москву возьмем... Наше войско — как сталь.

— Против кого это войско? — спросил Пажитков с горькой улыбкой.

— Это войско — за тебя, товарищ начальник.

Пажитков молчал.

— Ну, ладно, переводи. А квартиры подготовлены?

— Через неделю мы будем при всех удобствах, — сказал Самойленко, смотря на Андрея хитрыми глазами. — Ручаюсь!

— Но за эту неделю нам придется выдержать не один бой.

— Выдержим хоть сто! — уверенно сказал Самойленко. — Ты посмотри: наши так и рвутся...

— ...Чтобы пограбить! — иронически закончил Пажитков.

Самойленко едва заметно передернул плечами.

— Без этого трудно обойтись... не удержишь. Но на то ведь и война...

В это время в палатку вошел вестовой.

— Товарищ начальник, к вам отделенный из разведки.

— Хорошо, пусть войдет.

Вестовой просунул голову из палатки.

— Иди! — крикнул он. — Просят.

Вошел отделенный.

Измызганный, в рваных штанах, в дубленом полушубке.

потемневшем от дождя, в кожаной фуражке без козырька, весь заросший волосами и выпачканный в грязи,—этот разведчик был необыкновенно похож на бандита.

— Можно?

Он покосился на Самойленко и на вестового.

Андрей сделал вестовому знак, чтобы он уходил. Потом сказал:

— Можно. Какие вести?

Отделенный тут же выжал полы полушубка, с которых капала вода, похлопал по сапогам мокрой фуражкой, широко раскидывая брызги, потом сунул фуражку в карман.

— Вести?—переспросил он.—Ясно, как огурец: утром надо ждать атаки.

— Готовятся?

— Факт!

Самойленко потирал ладони.

— Вот это—что надо. Отряд надо скорее пускать в бой...

— А то превратится в настоящих грабителей,—подсказал Пажитков.

Самойленко утвердительно кивнул головой.

Пажитков продолжительно потянулся.

— Ну, так,—протяжно сказал он.—Ты, Самойленко, готовь отряд к обороне, а ты,—обратился он к разведчику,—расскажи мне все по порядку.

Андрей разложил перед собой карту, придвинул чистый лист бумаги и взял карандаш.

XII

Диц пришел на квартиру к Аглае в девять часов утра. Аграфена постучала тихонько в дверь спальни:

— Аглая Григорьевна, к вам этот... толстый.

— Скажи, чтобы пришел через час.

— Он не уходит. „Я,—говорит,—подожду“.

Радужный закутал ей голову одеялом:

— Брось разговаривать с этим спекулянтом. Прогони его к черту раз навсегда.

— За что?—спросила Аглая.—Он мне худого не делал.

— Но он пришел проверять...

Аглая наморщила лоб.

— А ведь и в самом деле...

— Ну, конечно!..

С минуту Аглая молчала.

— Нет, все-таки надо с ним поговорить.

— Ну, поговори.

Аглая вылезла из-под одеяла и начала одеваться.

— Скажи ему: я сейчас,—крикнула она Аграфене.

— Скажу. Он сидит в столовой.

Радужный завернулся в одеяло. Ему было неприятно, что Аглая продолжает знакомство с Дицем, но он как-то боялся сказать ей об этом. Теперь, видя, что она недовольна таким ранним его посещением, Радужный решил, что нашел самый подходящий момент сказать ей об этом.

— Адя, я серьезно: прекрати ты к чорту это знакомство... Мне...

Она быстро подняла голову.

— А что?—спросила она, и в голосе ее прозвучало недовольство.

— А то, что мне оно неприятно!—смело сказал Радужный.

— Так ты и прекрати.

— Адя!..

— Что?

— Ты меня обижаешь...

Аглая рассмеялась и вышла в столовую.

Диц сидел и курил.

Когда вошла Аглая, он медленно поднялся, медленно взял ее руку и медленно поцеловал долгими поцелуями—несколько раз.

— Мучительница моя...—сказал он с грустной, прощающей улыбкой.— Что вы делаете с моим бедным сердцем?..

— Оно нездорово?—спросила Аглая с мягкой иронией.

— О, да!—Диц приложил руку к сердцу.— Оно, бедное, разрывается от тоски. Вы же его обидели.

— Чем?—кокетливо спросила Аглая.

Диц продолжал грустно улыбаться.

— Разве вы не знаете?..

Они сели к столу.

Аглае жалко было расставаться с Дицем. Он был такой удобный любовник—мало требовал и много давал. Она покупала на его деньги наряды, содержала квартиру, кормила прислугу и мать, часто бывала в театрах, участвовала в дорогом стоящих кутежах с шампанским и с цыганами.

— Знаю,—сказала Аглая,—Поэтому-то и хочу с вами сегодня поговорить.

— А это не страшно?—спросил Диц, продолжая улыбаться.

— Не страшно, я думаю. Дело в том, что...

Она хотела сказать: „что я не одна“, но спохватилась и вместо этого сказала:

— ...дело в том, что я женщина, свободная по натуре, зависимости от кого бы то ни было терпеть не могу... А вы меня закрепощаете если не вашей любовью, то экономически... Женщина должна быть экономически независима от мужчины.

Диц слушал и ласково улыбался.

— Только это? Какие пустяки! Вы такая милая женщина, что вас даже приятно экономически закрепостить. Едемте-ка ко мне сегодня на вечеринку?

Аглая опустила голову на руки. „Какая я нехорошая!“—подумала она и сказала:

— Хорошо, заезжайте ко мне на службу к девяти часам. Я приду на вечерние занятия, и оттуда уедем.

— Есть! Я заеду за вами на машине.

Он теми же медленными движениями несколько раз поцеловал ее руки—правую, левую, правую, левую, — и медленно вышел с тою же ласковой, немного укоризненной улыбкой.

— Ну, что, прогнала?—спросил Радужный, когда Аглая вернулась в спальню.

— Прогнала!

XIII

Оживала Москва. Снова в субботние вечера и в праздники вспыхивала на окраинах песня мастеровщины. Заметно оживали фабрики, на главных улицах засияли витрины гастрономов и ювелирных магазинов, снова появились котелки, зазеленела лихорадочная коммерческая речь, выкладки, поставки, подряды. Революция замедлила ход.

Аглая пришла на службу к одиннадцати.

В двенадцатом в учреждении давали чай. К чаю она приходила всегда аккуратно. В своем уголке, на небольшом письменном столе, Аглая чисто готовила бутерброды—четыре штуки: два для заведывающего и два для себя,—наливала в чисто протертый стакан крепкого чаю из заварного чайника, укладывала на маленькую тарелочку два бутерброда и несла в кабинет, заведывающему.

Заведывающий молча благодарил кивком головы и продолжал говорить, если кто-нибудь в это время у него был, а если не было никого,—углублялся в бумаги.

Сегодня в его кабинете не было никого. Когда Аглая принесла чай и бутерброды, заведывающий поблагодарил, как обычно, но задержался на ней взглядом.

— Послушайте, товарищ... Зачем вы беспокоитесь?.. Чаю мне принесет уборщица, как и всем... К чему это особое внимание?

— Вам неприятно?—спросила Аглая немного обиженно—и покраснела.—Я, Федор Петрович, делаю это для себя... мне доставляет удовольствие.

Заведывающий улыбнулся.

— Как хотите,—равнодушно сказал он, но когда Аглая ушла, с улыбкой подумал:

— Уютная женщина...

Аглая занимала должность помощника секретаря. Работу свою она делала суетливо и в особенности любила объясняться с посетителями. Объяснялась она деловито, вежливо, немного покровительственно, и это нравилось—в особенности мужчинам. Она объясняла, что от нее требовали, даже и тогда,

когда ничего не понимала в том деле, о котором говорила, но так как она говорила решительно, как профессор с кафедры, то ей верили.

Несмотря на удивительную аккуратность в приготовлении чая и бутербродов для себя и для заведывающего, все деловые бумажки в ее столе всегда находились в великом беспорядке. Часто бумажки куда-то пропадали совсем, и в учреждении с каждым днем нарастало все больше и больше путаницы.

Она рассказывала своим сослуживцам новые анекдоты про советскую власть, про отдельных известных коммунистов, и если эти анекдоты были чересчур уж определены, она каждый раз прибавляла:

— Есть же охотники сочинять такую гадость!..

Вернувшись со службы, Аглая сказала Радужному:

— Сегодня у меня вечерние занятия. Я веду протокол заседания. Вероятно, сильно запоздаю.

Радужный внимательно посмотрел на нее: обманывает? Потом подумал: „А что ж я следить за ней буду, что ли?.. Квартира теплая, любовница мягкая, ласковая, стол сносный... Чорта ли еще надобно?“ И ответил:

— Хорошо. А я позанимаюсь...

Часов в семь она ушла. Ровно к девяти заехал Диц на автомобиле.

— Я вас похищаю на всю ночь,— сказал Диц.— Сегодня вы моя пленница.

XIV

Бой начался на рассвете.

Пажитков хорошо подготовился к атаке, стараясь предусмотреть все неожиданности. С вечера он написал воззвание к своим войскам и к наступавшим. В воззвании говорилось, что Пажитков не желает воевать, что почин боевых действий исходил не от него, а от Гарусова, что он послал в Москву гонца в Реввоенсовет.

— Я подчинюсь распоряжению Реввоенсовета немедленно, безоговорочно, даже в том случае, если будет приказано меня немедленно расстрелять. Я против этой нелепой братоубийственной бойни. Товарищи, остановитесь! Решение Реввоенсовета, может быть, завтра уже будет получено.

Воззвание было написано через переводную бумагу в десятках экземпляров и послано в штаб наступавшим. Делегация, ушедшая с воззванием, не вернулась. Утром началось наступление.

Наступали войска, прибывшие по распоряжению главного штаба, не знавшие Пажиткова. Командный и политический со-

став также прибыл вместе с войсками. Распоряжение у него было краткое: ликвидировать банду Пажиткова самыми беспощадными мерами в возможно кратчайший срок. Главный штаб учел влияние Пажиткова в среде местного населения и красноармейцев, работавших с ним рука-об-руку, и чтобы движение не разрослось, решил уничтожить его как можно скорее.

Когда затрещали первые выстрелы, Пажитков схватил себя за голову и беспомощно опустился на пень.

— Что они делают?! Ах, что они делают!..

— Прикажете начинать, товарищ начальник?—спросил Самойленко, уже заранее давший распоряжение открыть по наступавшим огонь при первой же попытке их к атаке.

— Да! — спокойно и твердо ответил Пажитков.— Драться без пощады, но только не наступать, а обороняться.

— Слушаюсь,— ответил Самойленко, пряча улыбку в усы.

Пажитков почувствовал удушливый, отдающий псиной, запах самогона.

Самойленко, ожидавший боев, раздобыл несколько ведер самогонки и напоил своих ближайших приятелей и большую часть командиров. Были пьяны и рядовые бойцы отряда. Некоторые получили самогон от Самойленки, а некоторые добыли сами, когда ходили в село. Ожидая боев, Самойленко всем выдал жалованье из украденных им казенных денег, некоторым, по своему усмотрению, выдал даже денежную награду.

Утро было пасмурное, седая изморось обволокла туманом поля и плотным пологом повисла над лесом.

„Дураки!“—подумал Пажитков о наступающих.—„В такую погоду могут атаковать только те, кто ни дьявола не понимает в военном деле“...

Он плотнее придвинулся к Самойленке и схватил его за горло.

— Пьян, сволочь! В бандита превращаешься, сукин сын!.. Застрелю, как собаку.

Решительным движением Андрей вынул из кобуры ноган.

Самойленко отвел его руку, продолжая глупо улыбаться.

— Брось, товарищ! — хрипло сказал он.— Мы с тобой поставлены на одну статью...

Андрей опустил руку и спрятал ноган.

— Ступай! Атака должна быть отбита.

— Вот так-то лучше! — пробурчал Самойленко и, шатаясь, пошел на опушку леса, к месту боя.

Пьяная ватага Пажиткова рвалась в рукопашную. Самойленко подоспел как раз во-время. Имея значительный опыт, он понимал, что при таких условиях положение наступающих, знающих плохо это место, значительно хуже, чем положение обороняющихся. Наступавшие стреляли в туманную изморось, не видя цели. Артиллерия была впустую. Шрапнель все время делала перелет и была совершенно неопасной.

Наступавшие могли бы оцепить лес и повести атаку со

всех сторон, но и это было невозможно: лес слишком велик — потребовалась бы целая дивизия. Они попробовали конную атаку, но безуспешно. Атакующим пришлось вернуться назад, потеряв бессмысленно троих человек и до десятка лошадей.

Самойленко отдал приказ:

— Зря не стрелять. Стрелять только тогда, когда будет видна мишень.

— В тумане-то, все равно, не попадешь: он обманет, — ответили ему из окопа. Вишь, как они жарят.

— Пусть выблуются! — небрежно ответил Самойленко и, отойдя в ложбинку, сел там, чтобы никому не было видно, достал бутылку самогона и опрокинул ее в рот. Закусил кренделем.

Изморось становилась гуще, переходя в частый дождь. Орудия замолки.

Окопы оживились.

— Уходят, стервы!

— Дать бы им в загривок.

— Ребята! Дуй...!

Самойленко лежал в ложбине, подставив дождю и туману разгоряченный лоб. Сердце болело и билось, мозг оступел, поднималась тошнота.

Он ничего не знал, что делал отряд, который почти весь целиком, за исключением маленького резерва особенно ценных бойцов и близких приятелей Самойленки, сидел по окопам. А отряд с пьяным гиканьем выскочил из окопов и бросился в туман, откуда минуту тому назад гремели выстрелы. Побежали даже те, кто нес службу связи.

Туман молчал. Пьяная вооруженная ватага, почти без всякого командира, вся сбившись в кучу, ринулась догонять отступавших, которые и не думали отступать, выполняя данный им приказ, — и попала в кольцо. Снова, теперь уже с бешеным ожесточением, затрещали выстрелы, через несколько минут грохнула артиллерия, кладя снаряды на опушке, чтобы отрезать наступление, радостно захохотал в тумане пулемет.

По этому ожесточенному грохоту Пажитков догадался, что на фронте что-то случилось неожиданное. Пробиваясь сквозь кустарник, царапая лицо и руки, перепрыгивая через ямы и валежник, падая через каждый десяток шагов, — он бросился к окопам.

Окопы были пусты. Впереди — не узнать в дожде и тумане, близко или далеко — ухал человеческий рев, дробно крошили выстрелы. Совсем близко ложились и рвались снаряды. Пажиткова откинуло в сторону и обдало липкой землей.

— Сволочь! — крикнул Андрей. — Подвел, пьяная стерва. Теперь пропало все.

Он бросился в лес. Спасти штаб и остатки резерва!

Он приказал штабу немедленно захватить только самое необходимое и сейчас же отступить с резервом в противоположную сторону от боя — к селу.

— В чем дело, товарищ начальник?

Андрей молчал, стиснув зубы.

— Мы отступаем?

— Нет, мы бежим!

XV.

Очнувшись, Самойленко бросился к окопам. В окопах было пусто. Теперь по ним часто ложились снаряды, взрывая баясины и ямы в черной жирной земле.

— Ах, сволочи!..

Самойленко по снарядам решил, что бойцы трусили и отступили. Он бросился к штабу, плутал по оврагам, падал и царапал себе лицо.

Там, где стоял конный резерв, он нашел только кучки лошадиного кала.

— Так и есть. Убежали.

У него мучительно болела голова. Самогонки, чтобы опохмелиться, у него не было. Выйдя из зимницы, он подставил грязные кровавые пригоршни холодному дождю, подождал, пока накапало с полстакана—выпил. Во рту стало свежее.

— Куда же теперь?

Он быстро зашагал по лесу—в ту сторону, где было село. „Как-нибудь пробьюсь, а там—спрячут“...

Согнувшись, придерживая фуражку, Самойленко пробирался по лесу целиной, избегая троп. Он торопился: „Пока доберусь до села, отрезвею совсем. Надо бросить пить, а то пропадешь ни за понюшку табаку“...

Было за полдень. Но по сумеречным тучам Самойленко решил, что наступил вечер.

Было уже совсем темно, когда он выбрался на поле. До села оставалось версты полторы.

Согнувшись, держа палец на собачке ногана, он брел вспаханной целиной, утопая в жидком черноземе.

В селе было тихо. Мирнолюбиво мигали тусклые огоньки. Слышно было, как скрипнул колодезный журавель, и громко всхрапнула лошадь.

Самойленко пробирался около плетней, мимо речных бань, к овину знакомого мужика.

Когда он перелезал прясло, перед ним встала фигура с винтовкой.

— Кто идет?

Не разбираясь с мучительного похмельного страха, Самойленко выхватил ноган и выстрелил, не целясь. Человек с винтовкой несколько секунд безмолвно стоял, как столб, потом тяжело рухнул и вытянулся вдоль плетня.

Несмотря на темноту, он больше чутьем, чем зрением, угадал в убитом знакомую фигуру постового.

— Что я наделал... ах, чорт!..

Запинаясь и падая, побежал к овинам, огибая скирды снопов и кое-где еще неубранные суслоны.

В овине у костра сидела молодая баба—жена знакомого мужика. Было жарко и пахло отмякшим хлебом и кислой гарью.

— Кого надо?

Баба вскочила и отбежала в угол.

— Не узнала, Марьюшка. Это я... Гаврило... А где Филипп?

Баба всплеснула руками.

— Эко тебя, парень, уделали... Живого места не видать... Умыл бы хоть рожу-то. В углу вода в ведре. Там и ковш есть. Дай-ко я тебе подам.

Самойленко сбросил шинель, умылся. Марья, наливая ему в пригоршню воды, рассказывала:

— Как стало вечерять, Егорыч пришел с своей ватагой... Один за одним, человек так со сто. Разместились кое-где по овинам до по суметам—до угра. А набольшие с Егорчем вместе потребовали моего человека. Теперь заседают у Прохора в овине.

— Давно?

— Второй час, пожалуй. А я здесь. Прогнали.

Марья отвязала фартук и дала Самойленке вытереться.

— Башка разрывается... Марьюшка, достань бутылочку... умираю...

— Пересолил, видно? Когда же тебя угораздило? Сражение ведь было, говорят?

— Было... сражение!

— Голова ты, голова!.. — укоризненно сказала Марья. — В такую пору, да пить. Слаб ты стал, Гаврило... пропадешь...

Через четверть часа она вернулась с бутылкой самогона.

— На вот... И огурец соленый захватила... А тут вот, в пла-точке, хлеб... Хватит огурцов?

Самойленко было не до огурцов. Вытащил тряпичную пробку, опрокинул бутылку и пил крупными жадными глотками.

— Ишь, пробрало тебя...

Он выпил половину бутылки, вытер губы полой засаленной шинели, лежавшей рядом, и звучно хрустнул огурцом.

ГЕОРГИЙ УСТИНОВ.

(Окончание в следующем номере).

Котел кипящий.

Фронтовые воспоминания.

1.

Весной 1919 года я прибыл в Харьков из Москвы. С пури-танского, пайкового, хвостатого, строго советского севера—на обжигающий, распушенный юг! В течение, по крайней мере, недели я моргал глазами на все диковинки Харькова. Дивился бестолковому шуму, кипучим новшествам, особым правам червонной столицы. Присматривался к тыловым порядкам. Прислушивался к фронтовым делам.

Здесь был предбанник. А к югу от нас по всему Левобережью и за Днестром — жаркая баня, где люди огненным паром, пулеметными вениками, колючей проволокой до самого мозга пропаривали свои кости.

Украина — котел, кипящий под бешеным давлением. В душах — тысяча атмосфер. В нервах — миллион вольт. На каждом полустанке красноармейские эшелоны, охрипшие коменданты, никем не назначенные и никому не подчиненные, костры вдоль путей, в станционных помещениях сумасшедшая каша из серых шинелей, винтовок, пулеметных лент.

Армии шахтеров, мастеровых и мужиков, предводительствуемые голодранцами и вооруженные до зубов, в яростном самозабвении кочевали с севера на юг и с востока на запад. То по какому-то вдохновению и не считаясь ни с какими директивами, поднимались в поход, громили белых, устанавливали диктатуру ревкомов, огнем и железом очищали землю. Вдруг, так же самопроизвольно откатывались назад, расплывались, таяли, а затем опять сгущались громадными полчищами вокруг своих баз и двигались в новое наступление. Красные и черные знамена, изодранные и простреленные, развевались над полями сражений. Неистовые лозунги зияли с этих полотнищ, промеж дыр и прорех: „Земля — трудящимся!“ „Власть — советам!“ „Хай слэхнут паны!“ „Смерть капиталистам!“ Полки оборванцев в растрепанных шапках и вшивых лохмотьях, предшествуемые великолепными оркестрами, под громом „Интернационала“ про-

ходили церемониальным маршем через города и села. Эта публика своими опорками зверски отрубала шаг и при этом в такт марша вопила: „это есть наш последний и решительный бой“.

В Донецком бассейне было столпотворение вавилонское. На всех заводах и шахтах, в каждой яме формировался отряд.

Над диким табором Гуляй-Подем ветер трепал черное знамя анархии. Батько Махно держал фронт от Волновахи до самого азовского побережья. Против него с правой руки были силы добровольческой армии, слева—кубанские конные полки. Батько сидел, как паук, в своей дьявольской резиденции, сердито огрызался на армейское начальство, стягивал к себе мужиков с ближних и дальних мест, рассылал всюду агентов, далеко раскинул свои сети.

В Таврии, на месте Крымского ханства, процветала республика матросов и красногвардейцев. Военмор занял пост великого визиря и железной рукой устанавливал революционный порядок в своей беспокойной орде, держал в ежовых рукавицах этих башибузуков.

Все, что находилось к северу от Криворожья, подмял под себя батько Григорьев, „атаман Херсонщины и Правобережья“. В Александрии стояли его эшелоны—штаб, артиллерийский парк, интенданство. По временам батько Григорьев открывал интендантские вагоны и кликал клич по окрестным деревням. И на этот клич крестьянство собиралось большой массой. На великий сход к эшелону батьки Григорьева на ст. Александрия приливалось мужицкое море. А батько становился в дверях вагона и охапками швырял в вопящую толпу головные платки, прюнелевые ботинки, куски ситца и прочий хлам, от которого ломились вагоны атамана. Григорьев укреплял таким способом свою популярность.

Махно и Григорьев—черная накипь, бешеная пена мужицкой анархии, бунт и мрак. Их силы? Сегодня—несколько сот, завтра—десятки тысяч. Кто подсчитает? Мужик откапывал из-под плетня винтовку, выпрягал лошадь из бороны, садился верхом без седла и ехал к батьке-атаману. Бородачи собирались тучей, без призыва и команды, молчаливые и неистовые, готовые на все. Атаман вел их против помещиков, против налогов, против всякой власти, против тирании городов и местечек. Поэтому его слово было свято, его прихоть—закон, воля атамана самовластно хозяйничала в душах людских.

Эта братия, которая вела себя немножко шумно на пространстве между Донецким бассейном и Днепровским лиманом, и составляла в общей сложности то, что именовалось армейской группой харьковского направления, впоследствии—второй украинской армией.

Армия, блуждающая по лесам и равнинам, не помнящая родства, неисчислимая, как песок морской, и, как песок, про-

скальзывающая сквозь пальцы учета. Фронт — по черноморскому побережью против союзного флота, в керченском мешке против недобитых крымских белогвардейцев, по берегам Кальмиуса против головорезов Шкуро, на донецких хребтах против деникинских молодцов, во всех местечках, хуторах, балках и лесочках Украины—против гидры контр-революции.

Штаб армии—в Екатеринославе — устанавливал штаты, с которыми никто не соглашался, налаживал связь, которая никем не поддерживалась, рассылал приказы, никуда не доходившие, формировал пополнения, снабжал боеприпасами, мирил грызущихся соседей.

Командарм потерял голос, оброс щетиной и испортил себе 90% крови, стараясь внедрить некоторую стройность и порядок в довольно путаное положение вещей в частях вверенной ему армии.

Мне—путиловскому красногвардейцу, и Худякову—донецкому партизану, предложено было образовать революционный военный совет славной второй украинской армии с командармом во главе. Худяков желчно кривил губы. Членом реввоенсовета! Воткнуть нос в бумажную гущу и натирать мозоли на задней части за письменным столом! Это ему-то—боевому командиру, партизану, фронтовой штучке? Премного благодарны, утешайтесь сами, а нам что-то не в охоту. Нет, ему такая пресная мамалыга была не по вкусу. Он жаждал острых позиционных пряностей, соуса из артиллерийского грохота, воплей раненых и порохового дыма. Ему требовалась строевая работа.

По этой причине Худяков укатил в Одессу формировать какую-то совершенно эфемерную, третью украинскую армию.

А я не куражился и дал свое согласие, так как был, должно быть, не столь воинственным и честолюбивым, как донецкий партизан. Реввоенсовет? Пожалуйста! Рад стараться, товарищ нарком. Можете записать меня, куда вам угодно.

2.

Народный комиссар по военным делам предложил мне разыскать главкома Украины и представиться таковому. Это назначение нужно было согласовать с полевым командованием. Гм... разыскать главкома. Это почти то же, что найти иголку в стоге сена. Штаб фронта имел довольно туманное представление о местонахождении своего главкома в данный момент. Где-то между Москвой и Черным морем. Знающие люди посоветовали посмотреть в Киеве, спросить в Екатеринославе и на всякий случай заглянуть в Одессу.

— Ну, товарищ, едем в Киев,—сказал я Кузьме.—К утру чтобы все готово: фураж, продовольствие, документы. Цепляться к первому отходящему. Одна нога здесь, другая там,—суетись.

Кузьма посуетился, и утром мы уже болтались в хвосте какого-то идиотски длинного состава. Впереди — теплушка с Кузьмой, двумя лошадьми, мешками овса, кипами сена, казачьими седлами и тому подобным инвентарем. Сзади — служебный с тов. Бражневым, будущим членом реввоенсовета II украинской, картами, телефонами, „шошем“ и прочим барахлом. Мчались со скоростью пяти верст в час, с остановками подле каждого верстового столба. Торговались на каждом полустанке с ошалелым ДС из-за путевой. Пускались в рукопашную с ЗК каждой станции за паровоз. Отражали конные и пешие атаки озверелых пассажиров, стремившихся протиснуться в окна, двери и все отдушины наших вагонов.

В такой однообразной обстановке проползли Полтаву, миновали Лубны. Ночью на ст. Гребенке меня таки доканали. Первым вестником зла явился, как всегда, Кузя Чакан, который пришел и флегматично доложил, что „дальше ходу нема — бандиты“. Какие там еще бандиты? Откуда им взяться? Я натянул сапоги и отправился к начальнику станции.

Положение было таково: бандит Зеленый появился неожиданно на железной дороге и овладел станцией Яготин. Пассажирский поезд из Харькова попал в бандитские когти и был разграблен, а над пленными готовились учинить зверскую расправу, в числе последних оказалось несколько ответственных работников высшей военной инспекции. Как раз в это время удачно подошел к Яготину красноармейский эшелон, который мигом оценил положение, высадил людей и пулеметы и атаковал бандитов на яготинском мосту. В результате — ответработники отбиты, хоть и в нервном состоянии, но с целехонькими шкурами, а банда держится около железной дороги. Движение по линии прекращено.

Я поразмыслил над этими новостями и решил остаться в рамках благоразумия, т.-е. повернуть оглобли назад. Прочие пассажиры весьма единодушно и горячо ко мне присоединились: почва, столь близкая к Яготину, жгла нам пятки.

Поезд наш двигался назад, на Харьков, и притом несравненно быстрее, чем вперед. Мой аккумулятор испортился, я сидел впотьмах и горестно сознавал, что glavком уходит от меня в туманную даль. Как доберусь до Киева? Кружным путем — из Харькова через Кременчуг, Казатин. Дорога путаная и далекая, ниже всякой критики. Проклятая гайдамачина, чтоб вам околеть! Я изругал всех бандитов на свете на всевозможных жаргонах и завалился спать.

Да не тут-то было. Вскоре Кузьма разбудил меня и невозмутимо сообщил что, мол, уже приехали, дальше некуда. Мы стояли на ст. Лубны. Ромадан не принял нашего поезда. Комендант Ромадана по телефону сообщил, что связи с Миргородом нет и пропустить нас он не может. Однако, после длительной дискуссии при посредстве фonoпора комендант согласился при-

нять наш состав на Ромадан. Только он ставит на вид, что к его продовольственным запасам мы никакого отношения не имеем, проходи стороной. Всякую там бродячую шантрапу ему нечем кормить, у него своих обжор хватит. Вот еще, да мы и не мечтаем даже о твоих продовольственных богатствах, подавись ты своим провиантом, милый человек!

На ст. Ромадан мы встретили разнообразное общество: дюжину больших и малых составов, целое стадо более или менее сомнительного народа. К счастью, тут оказалось и несколько человек столичных коммунаров, две дюжины матросов, сотни две празднующихся красноармейцев. В салон-вагоне, застрявшем тут с утра, прокисло какое-то киевское начальство, к нему и собрались на совет мы, ответственные верхи. А безответственная шпана толпилась вокруг вагона, переругивалась хором, отпускала на наш счет нелестные замечания и терпеливо ждала наших решений.

А решение было таково: пробиваться на Харьков. Не подлежало сомнению, что Миргород отмочил такую же шутку, что и Яготин. Какая-то зеленая, белая или черная нечисть завелась вдруг в этих гоголевских палестинах. Старосветские помещики вылезли из своих могил, петлюровские универсалы расшевелили эту мертвечину. Станция Миргород оказалась кем-то занятой. Была стрельба и шум, по сведениям железнодорожников. Телефон бездействовал, телеграф тоже.

Таким образом мы оказались как бы в западне: сзади — Зеленый, спереди — нечто в том же роде, а посередке — ваш покорный слуга в довольно желчном настроении и с ним целый транспорт разношерстных бродяг. Наш импровизированный штаб решил срочно эвакуироваться на восток, в харьковском направлении. Мигом было введено осадное положение в подвластной нам зоне. Весь оказавшийся в зоне живой и мертвый инвентарь в два счета был милитаризован. Все, как способные, так и неспособные владеть оружием, были призваны под ружье.

Меня, по соображениям довольно загадочным, сочли наиболее квалифицированным из числа наличных стратегов. Поэтому на меня возложили общее командование всеми сухопутными и иными силами Ромадана. Прочие личности из военного совета оказывали мне всяческую моральную поддержку. К сожалению, моя память не сохранила ни одного имени, связанного с этим славным эпизодом. Но пусть те, кто был активным участником похода на Миргород, откликнутся на мой призыв и вспомнят своих случайных соратников.

Итак, я вступил в командование. Мы овладели положением и вновь обрели испарившийся было оптимизм. Закипела работа, засновали паровозы, образовалось некоторое подобие организации. Первым делом я попытался все же прощупать Миргород. После долгого молчания он вдруг отозвался. Отвечал комендант станции Миргород.

- Как ваша фамилия?
- А вам яке дило...
- Кем вы назначены?
- Вильной громадянскою владою.
- Какие войска на станции Миргород?
- Миргородский курень першей украинської дивизии.

Ах, собачье мясо! Миргородский курень! Еще вчера, когда мы проезжали Миргород, там был просто-на-просто миргородский караульный батальон. Маскарад об ясняет дело. Все ясно. Эти молодчики переменяли вывеску и фронт, только и всего. Ну, недолго процарствует ваша дурацкая „влада“. Приведем бородачей в культурный вид. Причешем железным гребнем.

В Кременчуг, в Полтаву, в Харьков полетели срочные пеши. Призываем к оружию все окрестные ревкомы. Бьем тревогу, зовем на помощь, поднимаем вокруг Миргорода железную стену окружения. Из Лохвицы прискакали два решительных мальчика в кавказских бурках, обвешенные оружием: командир и комиссар местного конного отряда. Сговорились: эскадрон двинется на Миргород походным порядком по шляху через Сенчу.

Наша экспедиция готова к действию. Эшелон стоит у выходной стрелки, паровоз—под парами, бойцы—в ружье. Батальон, смирно! По порядку рассчитайсь! Каждый десятый назначается отделенным, каждый сороковой—взводным.

Все в порядке, пулемет установлен на тендере паровоза, часовые—на всех тормозах. По местам, детки, лезь в вагоны, братва! Прикусить языки, наострить уши, смотреть в оба—тут вам не под мамкиным подолом! План таков: подойти к самому миргородскому семафору, высадиться и развернуть батальон на восток до р. Хороль, в то время как лохвицкий эскадрон появится с севера. Наступление комбинированное с севера и юга.

3.

Едем с лязгом, с грохотом, с железным ржаньем, в ночную темь, в неизвестность. Паровоз рывкает и диким бугаем прет с уклона на уклон. Немигающие яростные глаза выкатились из орбит-рефлекторов на сотню сажен вперед. Топка рыгает в тучи клубами искр и пламени. Освещенный дым рыжей гривой мотается по черному небу.

Все, кто есть в поезде, — на-чеку, подобравшись, вросши в черные квадраты дверей, — ждут. Пальцы—в ложа винтовок, глаза—в кромешную тьму, слух—в смутную возню и шорох степи. Паровозный мостик дрожит, ходит ходуном под ногами. Пламя топки обдает нас палящим дыханием и багрово озаряет бесстрастные лица машинистов. На тендере резким силуэтом растопырился трехногий кольт на подобие большого черного паука. Навстречу всилью городское зарево, огни Миргорода запрыгали слева от полотна.

Наш план оказался ни к чему. У семафора мы не остановились, не высадились и не развернули боевого порядка. Миргородский курень спутал всю нашу стратегию. Бандиты обманули наши ожидания: шайка бандитская не выдержала,—эта шваль, услышав про наше приближение, рассыпалась, как горох из прорванного мешка. Наш состав на всем ходу проскочил семафор, прогромыхал по мосту и торжественно ввалился в середку станционных путей, барабана из пулемета по крышам вагонов. В две секунды станция оказалась в наших руках. А в городе уже распорядились свои люди, большевики местные. Таким образом кончилось фантастическое существование миргородского куреня.

Утром стало известно, что и на запад путь расчищен. Зеленого отшили так, что небу жарко. И мы немедленно повернули нос на Киев. В Миргороде делать нам было нечего. Ликвидировать растрепанную контр-революцию—не наше дело. Этим займется чека и ВОХР,—их компетенция.

Киев принял нас радушно, по-товарищески. Милости просим, гости дорогие, запасных путей хватит на всех, воды в водокачке тоже вволю. А на остальном не обессудьте.

— Вам, говорят, не полагается, потому—у вас нет аттестату,—докладывал мне Кузьма и мял в кулаке мое, отстуканное на машинке во всем по форме, требование.—Объемистого, говорят, можно дать, вон там белогвардейские бунты сложены. А на счет зернофуража—отчаливай.

— Ладно. Мне с тобой некогда возиться. Чтобы зернофураж был, и—точка. Хоть роди его. Это твое дело—интендантское, а мое—оперативное. Разделение функций, понял?

— Так точно,—отвечал Кузьма неуверенно и поплелся доживать фураж и провиант.

А я отправился в город на поиски главкома.

Киев — город-хамелеон. Крещатик — переметная сума, продажный проспект, улица-ренегатка. Вчера присягала Раде, марала вывески украинской мовою, наряжала продавщиц в спидницу, плахту и намисто. Сегодня—любезничает с красноармейской звездой, на тротуарах и в магазинах большевистская терминология, маскарад под пролетариев, „трудовые артели“, „рабочая кооперация“. Завтра—овации и улыбки гетманским холуям, опять украинская мова, „жиночи капелюхи“, „каварня та едальня“, „чоловики“ с оселедцами, саблюками и шулерскими физиономиями, крахмальные груди мазуриков, бриллианты проституток, сияющие поповские рожки.

И под любой личиной Крещатик—в бешеном спекулятивном экстазе. Дрожит в торгашеской горячке, нагло выпучивает роскошь витрин, покупает, продает, загребает шальные проценты. Не успели отгромыхать снаряды над Киевом, а на Крещатике уже настезь зеркальные окна и широкие входы,

прилавки и шкафы магазинов трещат от груд товары, колыхается лес покупателей, шелестят пуды кредиток.

Сукно лоснит тяжелые складки. Блестящим рантом рябят сапоги. Шелка яркие режут глаза. Батист, тончайший, как воздух. Бриллиантовые солнца в витринах. Румяная сдобь за зеркальным щитом. За прилавком—несметная сила товаров. Дома буржуйские—полная чаша.

А мимо—наши в лохмотьях и опорках на босу ногу, с испытymi лицами и костлявым телом, ходят скромненько мимо всех этих доступных богатств, как вельможи, равнодушно сплевывают в зеркальные витрины.

Почему? Потому, что мы знаем себе цену. Наша кровь—дорогая, проливаем ее не за подобное дерьмо, а за что-то поважнее: за всемирное достояние, за вселенскую сокровищницу, за мировую революцию. Это вам не выродки-дворянчики, которые бьются за барахло, отдают жизнь за то, чтобы хоть один час пограбить и понасильничать вволю: знают, что нечего ждать впереди.

А мы знаем, что впереди—владычество труда над миром, коммунизм. Вселенная—наша добыча! Завоевать землю—это посерьезней ваших буржуазных потрохов, игра стоит свечей, на эту ставку есть расчет поставить ребром свою жизнь. Туда, к неисчислимым ценностям будущего, шагает Красная армия—мимо буржуазного хлама, мимо дешевки торгашеских улиц.

За границей вся газетная сволочь хнычет и вопит о зверствах и бесчеловечности Красной армии. Что значат те несколько десятков уличных белогвардейцев и обнаруженных контр-революционеров. барахлишко которых растряли в Киеве в пылу первых дней! Что это составляет,—когда весь город авансом—контр-революция, когда все население, с первого до последнего,—заведомые белогвардейцы, эксплуататоры, палачи, классовые враги! Если бы в завываниях буржуазных писак была десятая доля правды, спрашивается, что бы осталось от Киева и сотен прочих городов? Можно себе представить.

4.

Маленько я проморгал: главком укатил на юг напутствовать интервентов ласковым словом, а пролетариев Одессы поздравить с радостным часом воскресения. Одесса—под власть ревкома! Над Житомиром советское знамя!

Юго-западный театр—арена киевской группы войск—довольно-таки шумливые подмостки, на которых разыгрался отнюдь не бескровный малороссийский водевиль. Гетманы, политиканствующие беллетристы, Мазепы, Иуды выплясывали на этих подмостках чортов гопак. Под интервентские скрипки шибко весело танцевалось этим парнишкам, пока немецкая музыка в один прекрасный день вдруг не оборвалась. С Рейна

и Одера запахло паленой щетиной, и бургеры зашлепали во-
своясь спасать свою тибуху

Таким образом танцоры остались лицом к лицу с беспор-
тошными зрителями. В сущности говоря, хлопы тоже оказа-
лись гарными музыкантами. Бедняцкая бандура грянула на
весь Днепр красного гопака. Великолепная кадрили: 80.000 парти-
зан, стада петлюровских гайдамаков, взорванные мосты —
к облакам, сожженные местечки — в небеса, вопль партизанских
глоток — до самого солнца!

От Судожы, Орши, Льгова, с границ Курской губернии,
тучи партизан двинулись на Киев, дальше на запад и юг, ку-
барем — за Днепр, лавиной — на Житомир, смерчем — на Подол и
Волынь до черноморских лиманов. Петлюровский балет — все
эти сечевики, гайдамаки, галичане — разлетелся пылью, легкими
феями выпорхнул за кордон.

Штаб армии — 1 украинской — в Киеве отдыхал от бешеной
погони за своими стремительными войсками и делал по-
хвальные усилия не отрываться от низов, подойти ближе к ре-
альной жизни. В частности, в отношении формирований:
импровизаций здесь избегали, стремились развить самородные
войсковые образования. Полки Богунский, Сквирский, Тара-
щанский, Киселя, Антоновский, громадные по числу штыков и
неистовые по своей тактике, развертывались в бригады без
ущерба для полкового патриотизма и для армейского интен-
данства. В сущности, просто механически делились на три
части, с переименованием комбатов в комполки, комполков
в комбриги.

В штабе армии я узнал, что главком отбыл с экстренным
поездом в Одессу — осуществлять идею создания III украинской
армии из бессарабских полков. Формирование дивизий на юге
уже началось: 47-я защищала Одессу, 45-я держала фронт под
Винницей, 58-я сводилась из частей мифической крымской армии.

Вот почему и я очутился в Одессе в апреле месяце 1919 года.
Я ужасно спешил, так как боялся, что главком внезапно отва-
лит куда-нибудь в Петроград, Москву или Саратов. Поэтому
поезд еще не успел влезть в отведенный для него тупик, как
я пробкой вылетел из вагона и на своих двоих поскакал в штаб
армии на самом резвом аллюре.

— Главкома нет, — сухо сказал мне управдел РВС, и у
меня сердце упало.

— Как нет? В штабе нет? Или совсем нет?

— Главком час назад уехал в Николаев.

Несколько минут я глупо пучил глаза на хладного управ-
дела. Потом обрел дар слова, — крепкого слова, скорчился от
досады, задохнулся свирепым разочарованием, стиснул кулаки.
Неизвестно, как бы еще реагировал я на эту отрадную весть,
но в это время шустрый ад'ютант попросил меня к командарму
тов. Худякову.

В просторном кабинете за громадным письменным столом шахтер в кожаном кресле, рассматривая дистанционную трубку, дымил зловонным табаком. Я взял стул, сел рядом. Он строго оглядел мое походное снаряжение. Потом подмигнул мне и похлопал по коленке.

— Так едешь к Григорьеву? Знаменитое дело можно обделать. Решай,—сейчас тебе мандат в зубы, взвод курсантов в теплушку—и катись яблочком.

Я сделал вид, что все отлично понимаю и обмозговываю его предложение. Ждал, чтобы в дальнейших речах командарма открылась сугь вопроса. Худяков между тем изливал свое негодование на Григорьева, мошенника, бандита, кулацкого лидера, который начисто ограбил одесский порт, военные склады, и все увез без зазрения совести в свою Александрию. Командарма главным образом бесило то, что этот разбойник Григорьев забежал вперед, выкрал у него из-под носа все, до последней кипы мануфактуры. А плюс к этим практическим мотивам—соображения высшего порядка: насчет служебной субординации и военной дисциплины. Атаман наплевал на все приказы и запрещения,—ноль внимания на волю командования, своя рука—владыка. Такое своеволие было непереносно, чаша командармова гнева переполнилась, и он решил покончить од ним ударом с этой заразой.

А мне предлагалось не больше, не меньше, как взять два десятка курсантов, проникнуть в ставку атамана, выбрать момент, когда батько плотно поужинает, ночью захватить его и тайком, на экстренном паровозе, отправить в Одессу. Дальше действовать в зависимости от обстоятельств.

Вот какую задачу загвоздил мне командарм Худяков. На другой день этот проект подвергся беглому рассмотрению в реввоенсовете. Худяков смотрел на дело оптимистически. Другой товарищ с напыщенно-доктринерской манерой критиковал детали. В общем было очевидно, что Григорьеву остался один маленький шаг до открытого разрыва с советской властью и перехода на сторону врагов. Безболезненно ликвидировать его можно было или теперь, или — никогда. Настал час сказать Григорьеву последнее слово по секрету. Час пройдет, и слово это скажут громогласно на всю Украину пушечный грохот и дым пожарищ.

Короче—в ту же ночь я мчался из Киева в Александрию, имея двадцать пять отборных курсантов в своем вагоне, длинный и грозный мандат—в кармане, весьма шаткую уверенность и слабоватую надежду на успех—в голове.

5.

Александрия—жуткая лаборатория, где культивировалась черная зараза бандитизма. Головорезы толпились на платформе и в классных помещениях.

Верблюжцы, гвардия атамана, подонки деревни, дюжие босяки в бараньих шапках и рваных тулупах с угрюмыми лохматыми физиономиями. Роскошный состав международных и салон-вагонов на запасном тупике—штаб Григорьева. Атаман принял меня по внешности доброжелательно и с подобающими знаками уважения—представитель РВС, воплощение высшей власти, не шутка. Хотя, между нами говоря, батьке было в высокой степени начихать на эту высшую власть. Батьке, который по телеграфу торжественно обкладывал нецензурностями наркомвоена Украины. Батьке, который, получив от главкома боевой приказ, адресованный „комбригу Григорьеву“, вернул его обратно с надписью: „Я тебе не комбриг, а был, есть и буду—батько Григорьев, атаман Херсонщины и Правобережья“. Но при всем том лукавый мужик валял дурака, разыгрывал „красного генерала“, при встречах издевательски подчеркивал свою служебную подчиненность.

У Григорьева я нашел мужественного человека, Шафранского, который сидел в этом логовище тигров, пытаюсь превратить его в стадо овец. У каждого человека бывает какой-нибудь слабый пункт. У Шафранского была такая слабость—к Григорьеву, иллюзия, что он сможет сделать из Григорьева честного бойца за коммунизм. В этом духе он тотчас же начал было меня просвещать.

Я со своей стороны посвятил его обиняком и туманно в свой замысел, это было необходимо для успеха дела, хотя Шафранский принял мои сообщения в высшей степени неодобрительно. Он казался встревоженным и подавленным тем, что угадывал за моими намеками.

В то же время я уже принял некоторые подготовительные меры. Мне удалось поставить два своих вагона сейчас же за штабным поездом на соседнем пути, рядом с вагоном Григорьева. Паровоз я не отпускал и держал его горячим. На площадке паровоза у пулемета бессменно дежурил старший курсант. Мои люди рассыпались по штабному составу, разнося и знакомясь с челядью атамана.

И вдруг поздно вечером комендант станции самолично принес мне телеграмму:—По прямому проводу из Николаева.—„Приказываю ваши мероприятия остановить, ничего не предпринимать, ждать моего прибытия. Главком“. Тон телеграммы тревожный и недовольный. В чем дело? Дело оказалось в том, что Худяков телеграфно донес главкому о нашем решении, чем привел главкома в ужасную ярость. У главкома также были свои иллюзии насчет Григорьева, он тоже мечтал превратить его в рыцаря коммунизма. Приказ—дело свято, никаких разговоров. Я отпустил паровоз в депо, собрал своих людей и стал ждать.

Главкома встретили с треском и помпой. В почетном карауле молодцы на подбор, цвет Верблюжки, с зверскими ро-

жами. Бешеный оркестр. Лихая команда:—товарищи партизаны! Смирно! На кра-ул! Григорьев с важным видом, в синих штанах на выпуск, чисто выбритый, с напряженным выражением в наглых выпученных глазах, показывал главкому свой штаб, составы и свою ашадию. Хрипло и зычно орал на всю станцию, грозным взглядом наводил столбняк на людей, всячески демонстрировал свою власть и „железную дисциплину“. В присутствии главкома и всех прибывших жестоко, наотмашь, прямо в строю, избил одного из своих приспешников за пьяный вид. Я вспоминал случаи, когда Григорьев за какой-нибудь пустяк дробил из маузера головы своим партизанам перед строем неподвижного, замершего, немого полка.

Вечером был пир в салоне атамана, который с деланным почтением, чуть ли не с подобострастием расшаркивался перед скромным, молчаливым главою красных войск. Григорьев ловко инсценировал пьяное добродушие, растрогался, клялся в любви и покорности и кончил тем, что вытащил свой револьвер и протянул его через стол главкому—знак братской преданности. Обмен оружием означал солидарность и дружбу до гроба, атаман побратался с главкомом на жизнь и на смерть, предоставил себя и свой штаб в его полное распоряжение.

Главком был не на шутку растроган, обрадован, в восторге от такого исхода дела. Теперь он мог вздохнуть с облегчением: самую худую болячку красного фронта как рукой сняло. Самые опасные проходимцы партизанщины приведены к покорности и гарантировали свою верность красному командованию. И притом,— без всякого кровопролития, без малейших осложнений, с сохранением полного порядка и боеспособности в григорьевских полках. А мы еще лезли сюда со своими планами! Главком сурово осудил наше верхоглядство. А я пожимал плечами:—что ж! начальству лучше знать...

После такого финала я должен был не солоно хлебавши и поспешно выметаться из Александрии. Но я нисколько и не сожалел о своей отставке, отнюдь. Тем более, что я таки встретил главкома и вырешил с ним вопрос о реввоенсовете Харьковской группы,—что мне и требовалось, главным образом.

6.

Мы сидели в комнате совещаний реввоенсовета. Собственно, сидел один я. Командарм качал маятником дородное тело взад-вперед мимо стола, покусывая клинообразную бородку.

Я в упор задал щекотливый вопрос:

— Спрашивается, для какого дьявола я существую здесь?

— Правильно, — согласился рассеянно командарм. — Для какого?

В сущности, командарму нужен был хороший делопроизводитель по политчасти. Должность члена РВС здесь, в Екате-

ринославе, являлась чистой синекурой. Я понял это давно и мечтал последовать примеру Худякова, перейти в строй, принять менее звучное, зато более продуктивное звание.

Кое-что в этом смысле я уже пробовал устроить,—нечто в отношении Донецкой группы войск. Командарм охотно согласился послать меня командующим на Донецкий участок. Он вообще охотно готов был послать меня командовать куда угодно, вплоть до самой преисподней, лишь бы подальше от штаба армии. И я уже приступил к формированию своего группового штаба. Но потом дело это у меня сорвалось, донецкое командование проплыло мимо моих рук.

Затем случилось то, что должно было случиться: григорьевский нарыв вскрылся с большим шумом и кровью. Ведь он не был тогда ампутирован хирургом из главной квартиры, а был только прикрыт кисло-сладкой примочкой миротворчества. Ночью меня вызвали к командарму, там уже собрался целый ареопаг екатеринославских мудрецов с расстроеными, оторопелыми и хмурыми лицами. Командарм докладывал свои сведения. Наштарм на большой карте отмечал места, пораженные григорьевской заразой. Выяснилось, что банды Григорьева тремя группами двинулись в трех направлениях: примерно, на Киев, Екатеринослав, Одессу. Мятеж развернулся веером, распространяясь на все стороны света, размах у Григорьева был поистине злодейский.

Однако, я думаю, что ориентировка штарма была отчасти тенденциозной: штабные, может быть, бессознательно, склонны были преувеличивать масштаб атаманского бесчинства. Едва ли у Григорьева хватило бы пороха на несколько одновременных диверсий. Можно было допустить, что Григорьев выдвинул в сторону Киева и Одессы сильные заслоны, удар же всей массой нацелил на Екатеринослав. Какие силы участвовали в этом кулацком дебоше? Ведь резервы Григорьева могли оказаться неисчерпаемыми. Черная земля поднялась смерчем над Украиной. Ветер анархии гнал по всем дорогам тучи мужицкой пыли. Кулаки запирали свои лавки, учителя, попы, легионы мелких владельцев опоясывались патронташами, из всех трущоб вылазила деревенская чернь, пропойцы, босяки, дезертиры. Вот какая чума двигалась на нас за батькой Григорьевым.— Это казалось нам довольно внушительным, производило недурное впечатление. Сердце у меня было не на своем месте.

Партизанская бригада—2-я бригада 7-й украинской стр. дивизии, стоявшая в Екатеринославе, должна была защищать нас от нашествия этих филистимлян. Первый полк бригады в ту же ночь принял решение держать блажелательный для нас нейтралитет. Второй полк—недавно прибывшие с юга севастопольцы—в общем был настроен так: не хотел вливаться в бригаду, не хотел подчиняться командованию, не хотел комиссаров, не хотел дисциплины. Командир бригады—Покус

старший—держался подозрительно, вел довольно странную агитацию среди своих приближенных, от него за версту несло григорьевским духом. Он не был даже допущен на наше совещание, его решено было немедленно же изолировать от бригады.

Задумываться нам было некогда. Искать достойного комбрига—негде. И я, не задумываясь, стал во главе бригады, принял на скорую руку обязанности комбрига.

Бригада встретила эту перемену весьма равнодушно. Наштабриг—Покус младший—оказался человеком благоразумным и дисциплинированным, со всей серьезностью отнесся к положению дел и быстро настроил свой штаб на соответствующий лад. Два десятка сорванцов, составлявших конвой комбрига, выразили полную покорность и впоследствии мужественно мне служили.

Григорьев приближался быстро, был уже в Пятихатке. На станции Екатеринослав царил большая спешка и суета, советское население стихийно эвакуировалось за Днепр. В городе уже чувствовалось полубезвластие и разложение. Какие-то агитаторы открыто появлялись на базарах, в гарнизоне было неспокойно. Севастопольцы скандалили, у них обнаружилась бездна капризов, мы решили запереть их в казармах и не шевелить. Я торопил посадку в эшелоны первого полка и артиллерии—посадка шла чертовски медленно. Мешала эвакуация, путались составы, груженные скарбом и паникой, куда-то исчезали паровозы, приходилось посылать за ними вооруженных людей. Кроме того какие-то странные препятствия лесом вырастали вокруг. Таинственные затруднения, как цепи, связывали посадку полка. Это была апатия, неохота к действию, навождение, дьявольщина,—сатана из Александрии напускал туман на бойцов.

В 9 часов отошел первый батальон с конной разведкой. В полдень закончилась погрузка артиллерии. В 16 часов уже грузили патронные двуколки второго и третьего батальонов. И в 16 же часов за ст. Верховцево на кручах Саксагани уже стучали пулеметные кастаньеты, и столбы глины вздымались там, где ложились снаряды.

Головной батальон бригады сошелся с бандами внезапно, с ходу, без разведки,—наши встретились лицом к лицу с наступающими запросто, как встречаются прохожие на улице. Роты неторопливо высаживались на станции, артиллерия стояла в передках около погрузочной рамки,—когда увидели на возвышенностях в двух верстах скопления темных точек. Бандиты высыпали на бурых склонах, как черная сыпь на коже.

Одна рота тут же, прямо от станции, потянулась в цепь. Кучка наших разведчиков выскакала вправо и спешилась в балке,—в предупреждение обхода. Оба орудия медленно ползли вдоль полотна вслед за своими разведчиками, полетевшими выбирать позицию.

Вялый огонь велся из цепи. Пулеметы потягивали время от времени. Красноармейцы шли перебежками, лениво плюхались в старый бурьян, иронически подбадривали друг друга, постреливали куда придется. Так продолжалось, пока первая шрапнель не провизжала над головами и не обдала нас циклоном земли и осколков.

Дух боя ожил над полем. Вражеский огонь—прямо в лицо—разгорячил кровь. Жуткий интерес к ходу сражения охватывал души, бойцами овладевала злобная, веселая страсть.

Неожиданно одна ватага сунулась из-за редкой посадки влево, к окраине поселка,—между стрелками и артиллерией. Прислуга бросилась к передкам, орудия стали поспешно сниматься. Паника колыхнула наш левый фланг и затем прошла рябью по цепи. Батальон, который только что высадился и расходился во вторую линию,—сбился в кучу, смятый несущимися пушками и передками. Наша линия заколебалась, многие поползли назад, выходила форменная неустойка. И вдруг я увидел совсем близко черную кайму бандитов, обвесившую станцию с двух сторон.

Но тут мы вспомнили про екатеринославский коммунистический отряд, который первым, еще ночью, примчался на позицию, а теперь стоял в резерве—отсыпался в своих теплушках. Собственно, отряд сам напомнил о себе,—без команды вылезил из вагонов, зевая, продирая глаза, оскаливая зубы, точно потревоженный тигр.

Коммунары, как бешеные, рванули на центр врагов, зарокотали тяжелые пулеметы, первый батальон свирепо уперся и застегал железом сразу из всех отверстий. Артиллерия, уже проскочившая за переезд, по ту сторону станции, моментально схватилась с передков и захаркала по бандитам сбоку, с оттяжкой, продольным огнем.

Банды напирала еще одну короткую минуту. Затем оторопело стали. Затем покатались назад. Наша конница поскакала, прикрываясь березовым насаждением, обгоняя отходящие беспорядочные цепи. Пехота уже вскочила на ноги, поднялась во весь рост, встала на дыбы, маршируя, как придется, ожесточившись, выкатив глаза, ружья на-перевес.

В этот момент длинное серое тело броневика почти бесшумно выскользнуло из-за закругления и полоснуло желтым огнем, зашлепало снарядами среди нашей пехоты и по станционным путям. Этого парня мы не ждали, красноармейцы пришились к земле, на станции поднялась суматоха. Наши орудия впопыхах клали то перелет, то недолет, а броневик преспокойно постреливал в наступающих сумерках,—впрочем, не нанося нам существенных поражений. Григорьевцы под его защитой беспрепятственно улепетывали, скрывались за буграми, а после и броневик, получив один тепленький снарядик в брюхо, ретировался таким же манером, как и прибыл.

Партия вышла в ничью: те спасовали, мы—тоже, каждый остался при своем мнении. Ночь явилась, как галлюцинация,—бледным видением закачалась над нами, туманом обступила поле, обволокла бойцов дремотной явью. Дремали—и всматривались в полумрак, спали—и вслушивались в безмолвие, руки впились в ружейные приклады, глаза незрячие раскрыты, уши оглохшие настрожены, мысль отсутствующая—коршуном над вражеской стороной.

А перед рассветом вдруг исчез Екатеринослав: пропал с провода, молчал на все наши вызовы, точно ветром смело. Связь с армией порвалась, вот что произошло, а у меня имелись важные вопросы к штабному.

Противник держался в высшей степени пассивно, в поле была тишина, а к моим услугам имелся быстроходный автомобиль. Езды до города два часа. Почему бы мне не слетать самому в штаб и не повидаться лично с командармом? Нет ничего проще.

7.

Через два часа я уже спускался со стороны Суры в Екатеринослав.

Прежде всего я увидел, что забеспокоился шоффер, он стал оглядываться на меня, убавляя ход. На самом деле, внешность города казалась странной: улицы необыкновенно кишели народом, на всех углах толпились красноармейцы и пристально глазели на нас. И вдруг я заметил, что ни на одном не было красноармейской звезды!

Вот так номер! Это похоже на город, завоеванный Григорьевым. Подальше от этой улицы, слишком многолюдной на мой взгляд! Направо! К штабригу! Шоффер круто дернул за угол и закоулками пробрался к бригаде. И мы, будучи большими пройдохами, тотчас сняли свои значки и рассовали под сиденьями документы.

Штабные были на месте, топтались с беспокойными лицами, бросали на меня странные взгляды. Тут я бегло ознакомился с положением вещей. Дело житейское: гарнизону не понравились стол и квартира. Пока мы там возились с Григорьевым, гарнизон решил заняться на досуге вопросами быта, и между казармой и штабом произошло маленькое объяснение при посредстве ружейных прикладов. От оценки котла перешли к критике политической системы, обобщили выводы и реализовали свои обобщения с большей горячностью, чем это принято среди спокойных людей. Севастопольцы в два приема опрокинули походные кухни и ниспровергли советскую власть. Штаб армии и все, что теснилось на вокзале, по случаю такого казуса колбасой выкатились через мост за Днепр.

И тотчас вслед за тем в городе появился батько Максютя, махновский сподвижник, который без всяких затруднений за-

хватил в свои руки бразды власти или вернее — безвластия. На площадях происходили митинги, там ораторствовала сестра Максюты, фартовая особа, нечто вроде гуляйпольской Жанны Д'Арк. Народ рычал от восторга, а девица изрыгала непечатную хулу крошечным ротиком, жестикулировала ручной гранатой, зажатой в кулачке, топала ножкой, обутой в солдатский сапог. По городу разгуливали хаос и анархия. Вот что, примерно, я узнал в бригаде.

Штаб бригады, по его уверению, сохранял строжайший нейтралитет, в чем я, — можно понять, — шибко сомневался. Нейтралитет! Как это понравится? Стало быть — и вашим и нашим? Куда ветер подует? Подчиняетесь воинскому долгу или нет? — Отвечать прямо! Я возможно выпуклей подчеркнул, насколько двусмысленны подобные лозунги, как — „моя хата с краю“.

Однако, мне выразительно дали понять всю неуместность моих проповедей. Они, повидимому, удивились моей наглости: такая, можно сказать, одиозная фигура втирается в самую гущу честных людей, да еще начинает разводить бобы на киселе, городить всякую опасную галиматью. Еще, упаси боже, пронюхают севастопольцы... Мне благожелательно посоветовали бросить автомобиль и задворками, как можно скорее, уносить ноги.

Понятно, машину я не бросил и нам удалось благополучно проскочить на мост. Мимоходом мы ввергли в панику и изумление охрану моста, которая абсолютно не могла понять: из какого пекла могли появиться подобные типы — на машине — и выдающие себя за высокое начальство! Эти ребята с большой неохотой пропустили меня через баррикаду, заграждавшую мост.

А через два часа я пробирался обратно через этот тет-де-пон. Вообще говоря, командарм считал идиотством и ухарством — проехать еще раз через весь город, захваченный бандитами. Но так как было необходимо и решено все войска от Верховцева повернуть и ударить на мятежников в городе, то я все же поехал, ничего другого нам не оставалось делать.

Город мы, само собой, проскочили без приключений, — если не считать нескольких вынужденных остановок по вине покрышек и радиатора, во время которых меня от нетерпения и иных чувств бросало в холодный пот, и нескольких выстрелов, которыми мы любезно обменялись с добрыми прохожими.

Самым неприятным в этом предприятии было то, что оно оказалось совершенно излишним. Мой рискованный пробег с препятствиями был ни к чему. Не было нужды ехать к моим войскам у Верховцева и поворачивать их на Екатеринослав. Они сами повернули и двинулись на город — беспорядочной, ревущей, озлобленной оравой, проклиная свое начальство и грозя тем, кто сзади всаживал им нож в спину.

Утром по позициям зашумела ошеломляющая весть. В тылу — бунт! Город занят! Штаб армии провалился! Нас обошли, отрезали, продали! Спасайся, ребята! Командиры растерялись и сами ударились в панику. Самый отборный и зубастый элемент в таком положении завертит хвостом, как бешеный бык, и замечется, куда попало. Вся эта масса сорвалась с места и яростно повернула назад, на Екатеринослав.

Среди них не было уже и тени какой-нибудь дисциплины, ни намека на воинственное начало — паника и озлобление, только и всего. Они распылялись, текли, кто куда. Большая часть прошмыгнула в город — валяться на нарах, топтать мостовую, грызть семечки на рынке. Одни партийцы да немножко старых партизан прорвались с нами к заставе на мосту.

Вторую ночь мы бодрствовали — на днепровском мосту. Небо было в тучах, ветер выл в решетке железных ферм, — холодный ветер, леденивший кровь. За мостом был отчаянный мрак, черная дыра темноты, провал. Как будто за этим мостом ничего не было, все кончалось, — бесконечность. А мы стояли, как автоматы, не то во сне, не то бодрствуя, и охраняли подступы из этого небытия к нам, в живой мир.

Утром же мы все повалили в город, он опять был наш, без выстрела. Мятеж растаял, как пар. Гарнизон проснулся и увидел себя голодным и осиротевшим без какой бы то ни было перспективы. Анархия издохла, лишенная какой-либо цели. Поэтому, когда комендант моего штабрига Осадчий с десятью сорванцами на броневике подкатил к штабу самозванного начальника гарнизона, разгромил и захватил таковой — этим и ограничились боевые действия.

Город мы вернули себе, но войска — нет. Войска совершенно распустились, потеряли все войсковые свойства. Гарнизон был безнадежно дезорганизован и в моральном и в административном отношении. — Разве это войско, товарищ командарм? — Толпа! В полном смысле слова. Стадо! будь я проклят... Вот что мы имеем с тобой, командарм, не больше. С этими обломками города не защитишь.

Действительно, Григорьев приближался, он уже висел на нашей шее.

Вечером грохали выстрелы из садов на окраины Екатеринослава. В сумерках черные косматые всадники пронеслись по пустынным улицам. Григорьевская разведка моталась по городу. Мы фактически держались на станции и в районе железнодорожного моста. Кучка курсантов представляла весь наш боевой кадр, который выбивался из последних сил в течение ряда бессонных ночей.

Собственно, достаточно было небольшой организованной силы и немного дерзости, чтобы свалить нас в Днепр и утвердиться в Екатеринославе. Но штука была в том, что у Гри-

горьева уже не было ни клочка организованных сил, ни фунта дерзости. Бандитизм выдохся! По мере того, как мятеж катился к Днепру, инерция его испарялась. Григорьевский пузырь выпустил по пути весь свой наступательный дух.

Если мы с нашими ничтожными силами не отбросили в тот же вечер этой дряблой бандитской оболочки, то потому только, что и сами находились в подобном же состоянии. Нам необходимо было выспаться, только и всего. Вечером, когда я метался, сиюсь выкроить смену в сторожевое охранение, меня атаковал на крыльце вокзала товарищ Орлов, неукротимый большевик, огромная фигура с грозной внешностью и добродушной начинкой. Дождь промочил меня до костей, грязь хлюпала в моих оскаленных сапогах, и я засыпал на ходу, мои глаза слипались,—надо сказать, что я в этот момент плохо соображал, что и к чему. Орлов набросился на меня с руганью:—Зачем мы торчим на вокзале? Почему не наступаем? Для чего мы существуем—Красная армия?

— Поди, поговори с моей кобылой об этом,—пробурчал я сердито.—Почему она не наступает, сидит в конюшне да жрет ячмень? У тебя есть с кем наступать? Так валяй, действуй, я разрешаю. Покажи свою удачу.

На рассвете наша армия двинулась—три сотни курсантов и коммунистов, это было довольно смехотворное зрелище. Мы шли кучками, как попало; вдоль железнодорожного полотна, размахивая своими ружьями, как странник клюкой, вытаскивали из карманов ломти хлеба и уплетали за обе щеки. Впереди на дрезине катили пулемет, а за ним плелся товарищ Журба, это был наш авангард. В одном месте, около Тарамского, нас подкараулил григорьевский бронепоезд, неожиданно бросил по нашей цепи полсотни снарядов,—видимо, без прицела, беспорядочно потарахтел по полю и роще, которые мы проходили.

Наш пулемет застучал, пехота бросилась стороной обходить броневик, и он поспешно ушелся. Бандиты приняли нас жидким огнем, но курсанты почти без выстрела вскочили на станцию, и этим решился исход дела. Григорьевцы без пересадки покатали назад, в свою Александрию.

Ночью появился еще наш отряд, приехал громить Григорьева. Но громить, пожалуй, было уже некого... Киевский заслон Григорьева получил хороший шлепок от частей I армии и отлетел без оглядки. А вслед затем главное ядро бандитов, взятое в клещи где-то у Алферова или Пятихатки, рассыпалось в пыль, как гнилое дерево.

ЕВГЕНИЙ БРАЖНЕВ.

Из поэмы „Явь“.

Как трубка курьера Петра—
 Прокуренный завком.
 Трансмиссий взлет по гудку с утра:
 И завод,
 И завком—
 Ходуном.

Вплотную к станку и сердцу,
 Ждут
 Дни в тревожных очередях:
 Над страной—голод и кнут,
 У дорог—искалеченный шаг.

Настойчив и точен, как рычаг
 (Детству плесень цвела да бурьян),
 Сутол в походке,
 Скуп в речах
 Предзавкома товарищ Иван.

В фундаменте — камень,
 Солдат—на посту,
 Жизнь—необычным грузом,—
 Ну, где же тут думать
 О всхлипе простуд
 Под старой отцовской блузой.

Было:
 Над сметами и чертежами
 В синеве махорочных туч
 Золотистыми кудрями
 Вспыхнет пыльный солнечный луч.

Голубые у всех глаза,
 Трепет голубя за окном,
 Тишь мышиная
 вдруг
 в корпусах,
 Синью, ширью тесный завком...

Дремала заря за курганом,
Ковыль ковылял на бегу;
В туманах степных дурманом
Пламя девичьих губ...

И в будничном шумном чаду
Заседаний, жалоб, тревог—
Улыбка зарницей в лице,
Да и ту
Никто уловить не мог.

В сталь—взор,
За вопросом—вопрос,
Лишь рябью дрожь в словах;
И вновь:
Спокоен, суров и прост—
О тарифе, сырье, дровах...

Только—
С натугой хватка резца,
И токарь
к станку

с трудом.

Не глаза—мутные камни с лица—
В завком.

Так просты слова.

А грузом хрипят:

— И сегодня хлеба, товарищи, нет...

.....

Ну, как же встречать у порога ребят?
И что отвечать жене?..

Трансмиссий всхлип
Зловещ и сух—
Ржавыми всхлипами в грудь,
Шамканьем улицы и старух
В оцепенелую муть.

Смолк завод.

Мертвеет огонь.

Визг крыс,

Лязг колеса...

Так станет, шатаясь, загнанный конь,

Дрожа и глазом кося.

С. ОБРАДОВИЧ.

В е с н а.

Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в „Капитале“,
Что для поэтов—
Свой закон.

Метель теперь
Хоть чортом вой,
Стучись утопленником голым,
Я с отрезвевшей головой—
Товарищ бодрым и веселым.

Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,
Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.

Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону,
И, коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.

Закон вращения в мире есть,
Он отношенье
Средь живущих,
Коль ты с людьми единой кущи,—
Имеешь право
Лечь и сесть.

Привет тебе,
Мой бедный клен!

Прости, что я тебя обидел.
Твоя одежда в рваном виде,
Но будешь новой наделен.

Без ордера тебе апрель
Зеленую отпустит шапку,
И тихо
В нежную охапку
Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,
Водой окатит из колодца,
Чтобы в суровом октябре
Ты мог с метелями бороться.

А ночью выплывет луна,
Ее не слопали собаки.
Она была лишь не видна
Из-за людской
Кровавой драки.

Но драка кончилась...
И вот—
Она своим лимонным светом
Деревьям, в зелень разодетым,
Сиянье звучное
Польет.

Так пей же, грудь моя,
Весну!
Волнуйся новыми
Стихами!
Я нынче, отходя ко сну,
Не поругаюсь
С петухами.

Земля, земля!
Ты—не металл.
Металл, ведь,
Не пускает почку.
Достаточно попасть
На строчку,
И вдруг—
Понятен „Капитал“.

На Севере.

Кому благодатные Сочи,
 Боржом и лысые хребты,
 А нам довольно мыла кусочка,
 Мочалки и шайки горячей воды.
 Зачем многотысячеверстный
 Пробег на Кавказ или в Крым,
 Если и здесь не горбушкой черствой
 Мы жизнь аппетитно едим.
 Сердца—призывней плаката,
 В мускулах, словно в машине, победная дрожь;
 Разве в кошачьих глазах винограда
 Силу такую найдешь?
 Не торопясь, дошли до бани
 И снежной пеной всклоченных вод
 Скидываем в грязную бездну лохани
 Недельную тяжесть труда и забот.

Е В Г. П А Н Ф И Л О В.

Комсомолка.

Если руки, вскинутые ловко,
 С барки медленно сползающей ко дну
 Волокли с веселою сноровкой
 По огромному бревну;
 Если в холоде аудиторий,
 В рваненьких пальтишках дочерей полей,
 Слушали рассказ про вигов и про тори
 От своих измученных учителей;
 Если это—так знакомые осколки!
 Если это—наша, прожитая жизнь,
 То не скажешь нашей комсомолке:
 — Ну-ка, милая, держись!
 Эта вечно с грохотом и стуком
 Может в пляс, а может и к станку;
 Может быть и лучшим политруком
 В боевом полку.
 Нет ее свежей и краше!
 Ей ли скажешь—милая, держись,—
 Если все мы —
 Папы и мамы,
 И родная дочка наша —
 Жизнь?

Е В Г. П А Н Ф И Л О В.

Х м е л ь .

Ох, ты, хмель, родимый хмель,
Петь тебя в три голоса,
Взял бы с поля я свирель —
Стебель из-под колоса.

Да в толщинушку пошел
Ножкой комариною.
Заслонила солнце, что ль,
Попадья периною?

Али непашь под сохой
Глудками твoroжится?
Только полночи глухой
Все с дежой не можется.

Киснет, киснет до зари
Чортова затирочка.
Цедит, цедит янтари
Потайная дырочка.

По сутемкам сулея
Тычет в губы пьяные.
С перегарного зелья—
Голова дурманная.

Поле надо большаку —
Под плетнем валяется,
Мозговать бы мужику,
Да опохмеляется.

И скудна, скудна свирель,
Петь тебя в три голоса!
Хмель ты, хмель, проклятый хмель,—
Кровь родного колоса!

АЛЕКСЕЙ ЛИПЕЦКИЙ.

Д в о р н и к.

Еще нестарый, а такой нескладный,—
Пиджак мешком, с набором сапоги,
Но как он смотрит на закат, досадно,
Как будто бы не день, а целый год погиб.
Он злой. Когда развякаются кошки
Иль раздерутся во дворе между собой,
Степенно он выходит из сторожки
С неласковой, вз'ерошенной метлой.
А после дождика, когда так солнца много,
Когда на улице так звонки голоса,
Проходим он обрызгивает ноги,
С кривой усмешкою в усах.
Не любит он зимы (с одежей туго),—
Не греет ни пиджак, ни старенький картуз.
И часто, у ворот слышав злую ругань,
Шараются барышни из ВУЗ.
Но я его люблю. С душонкой зайца—
Он вдруг выбрасывает из себя огонь...
Ах, в синих сумерках нельзя мне не признаться:
Да, я его люблю за... песни и гармонь.
Закинув голову за взгорбленные плечи,
Какой он в слушателе вызовет задор!
Вот почему почти что каждый вечер
Все жители сползаются во двор.
Горят на девушках искусственные брошки,
Старик выпячивает к огоньку кадык,
А он один сидит в своей сторожке,
Перебирая пальцами лады.
Давно уже на башне полночь било,
Но он поет, и пропадает мгла...
За эту буйную и радостную силу
Ему прощаются и ругань, и метла.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

М о л о ч н и ц ы .

Настька Милешкина, двор ее крайний с деревни, Матренка Власова, наискосок окна у них, да с задов,
Лбова Акулька и Фенька Гуськова—не девки—орехи!
В город снесли молоко в длинных больших четвертях.
Двадцать копеек за каждую все получили, свернули
Деньги в платок узелком, до-дому тут же пошли.
Горки, село-то, не близко, а полдень и зноен и жарок,
Еле дошли до бугра—дрема сморила их всех.
„Сем-ка, присядем под сосны! Тут тень, да и ветер прохладный
С дальних лугов набезит. Ставьте посуду рядком!“
Только плетенки поставили в кучку, под голову руку
Мягче подушки суют, вот и уснули все враз.
Ветер с низов поддувает, комар или мошка не тронут,
Солнце по небу идет, светит сквозь хвою на них,
Луч позабавиться прыгнет, где косу иль прядь позолотит,
Где, под платок проскользнув, щеку охватит огнем.
Первая, Настька, лежит на боку, призакрылась платочком,
Рядом Матренка рукой грудь свою держит; как вздох,
Так и колышется ситец на кофте пунцовой. С устатку,
Что ли, а, может, на сон в каждое время крепка,
В землю ничком, словно мертвое тело, Акулька свалилась.
Фенька ж, под небо лицом, навзничь лежит на траве,
Руки раскинула врозь, на губах пробегает улыбка,
Снится, как водится, ей шелковый новый платок.
Ветер над ними играет, не раз озорной разбежится,
Тело на миг оголит, бережно вновь завернет,
Кинется вдруг под бугор и закрутится вихрем по полю,
Вольная воля да свет белый любы смельчаку.

П. РАДИМОВ.

Черноморское восстание.

(Воспоминания).

Страничка истории.

В течение четырех слишком лет, с 1919 по 1923 год, общественное мнение во Франции было возбуждено агитацией, поднятой вокруг восстания матросов на Черном море. По этому поводу писалось очень много, при чем факты или искажались, или представлялись в ложном свете. В целях выяснения истины мы, пережившие эту трагическую эпоху, решили собрать надлежащим образом проверенный материал, который и дал нам возможность написать эту страничку истории.

Работа эта, хотя и неполная, даст тем не менее, мы надеемся, точное и ясное изображение событий, и, разбудив воспоминания у лиц, так или иначе к этим событиям причастных, побудит их, может быть, доставить нам дополнительные сведения об этом эпизоде русской революции.

Андрэ Марти.

Памяти французских солдат и матросов, расстрелянных в Севастополе и Одессе, и всех тех, кто зверски был убит французской демократией на юге России.

Коммуна побеждена, но не раздавлена (май 1871 г.).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

П а м я т к а.

28 октября 1924 г. в Севастополе, на митинге в клубе имени лейтенанта Шмидта, один рабочий преподнес мне вырезку из газеты, старую, смятую, пожелтевшую. Это оказалось прекрасным стихотворением на русском языке, напечатанным в местной рабочей газете 10 мая 1919 г. и посвященным памяти французских моряков, погибших 20 апреля 1919 г. под греческими и французскими пулями. Он долго, годами, благоговейно хранил этот лоскут бумаги и вручил мне его, как доказательство того, что ни он, ни его товарищи не забыли тех, кто сражался с ними бок-о-бок.

Это трогательное воспоминание—лучшая дань уважения павшим от неизвестных севастопольских рабочих.

Андрэ Марти.

З а с в о б о д у.

(Павшему смертью славных.)

В лазарете на койке он в ранах лежал;
 Вкруг стали французы-матросы;
 Он в агонии был, и товарищей звал,
 Весь горел и хватался за троссы.
 «Пощадьте, товарищи. Чувствую я,
 Что уж скоро я с жизнью расстанусь,
 Возвратитесь во Францию вы все, а я—
 Лежать на чужбине останусь.
 О, прекрасная Франция! Ради тебя
 Был готов свою кровь лить рекою.
 Но пощадил меня Рок,—чтоб, свободу любя,
 Я сражен был французской рукою.
 Ты, Симон, возвратись, навести мою мать,
 И не надо старушку тревожить:
 Передай ей привет и скажи, что лет пять
 Наш корабль еще странствовать может...
 Пусть не ждет меня, бедная. Вас же, друзья,
 Я прошу, расскажите народу
 Правду всю, ничего не тая,
 Как я пал за любовь и Свободу.
 Расскажите, что был я убит не в бою
 И не немцем, не турком иль русским,
 А полковником нашим Труссоном, слугой
 Богачей, гражданином французским;
 Что убили меня по приказу его
 Лишь за то, что я нес Революции Знамя,
 И что в русском не видел врага своего,
 Не гасил я священное пламя.
 Передайте народу призыв мой святой:
 Опомнитесь за меня и за многих,
 Что погибли и гибнут в борьбе роковой,
 Ради прихоти тигров двуногих.
 Отнесите проклятье Ваала жрецам,
 Из-за золота кровь нашу льющим,
 Всем правителям Франции, всем наглецам,
 В жертву золоту нас отдающим...
 Пусть зажжется во Франции гнев на всех их
 В обескровленном сердце народа.
 Пусть... да здравствует мир!.. И страдалец затих
 Со словами—«Любовь и Свобода»...
 И движной стеною стояли кругом,
 И угрюмо матросы шептали:
 — «Сли спокойно, товарищ! Завет твой снесем...
 Дни расплаты за все уж настали»...

(10 мая 1919 г.)

Пролетарий.

М я т е ж н и к и .

Чтобы описать подробно жизнь и оценить поведение тех детей народа, матросов и солдат, которые отказались идти по приказу начальников против своих русских братьев, понадобился бы специальный многотомный труд. Вот почему мы, в ограниченных рамках этой работы, упомянем только некоторых из этих людей; мы постараемся в дальнейшем дополнить наш перечень.

Из всех осужденных по делу восстания на Черном море на мою долю выпало, не только во время моего заключения в тюрьме, но и после освобождения, наибольшее количество клеветнических наветов. Это обстоятельство заставляет меня несколько подробнее остановиться на моей биографии, чтобы читатель мог судить о ней с полным знанием дела.

Я родился в Перпиньяне в 1836 г. Отец мой, по профессии повар, 11 лет от роду, еле грамотный, ушел босиком из своей деревни, чтобы не сидеть на шее своих родителей, обремененных большой семьей. В Перпиньяне, где он поселился, он нанялся к повару учеником и у него же мало-по-малу изучал эту профессию. Постепенно совершенствуясь и развившись духовно, он в апреле 1871 года, уже будучи на военной службе, в качестве рядового солдата, подвергался преследованиям за братание в Нарбонне с населением, об'явившим у себя коммуны, и вынужден был бежать за пределы Франции, чтобы не попасться в руки властей во время жестоких репрессий Тьера. До амнистии 1879 г. он прожил в Буэнос-Айресе и Барселоне, где продолжал свое образование и сколотил своим трудом небольшую сумму, давшую ему возможность впоследствии арендовать небольшой отель-ресторан в Перпиньяне. Жена его, моя мать—также уроженка Каталонии—была работницей—гладильщицей белья.

Я был старшим из детей и, поступив в муниципальный коллеж, шел первым учеником. Увлекаясь занятиями, я проявлял особенный интерес к точным наукам. Воспитанный отцом в любви к труду и в ненависти к праздности и к политической болтовне, я занимался самообразованием, с неустанным вниманием следя за всеми общественными движениями.

Отец, желая вырвать меня из узко-национальной среды, которую он считал тисками, давящими всякие духовные порывы, решил сделать из меня моряка и отправил в Тулон для подготовки в морское училище.

Чуждая среда аристократических сынков, в которой я очутился, угнетала меня. После дзухлегких душевных мучений должен был отказаться от осуществления плана своего отца. Я поступил в профессиональную школу Рувьер в Тулоне и затем в Перпиньяне занялся ремеслом котельщика. Некоторые вещи

моей работы еще до сих пор тщательно сохраняются стариком Паскалем, у которого я тогда работал. Одновременно я совершенствовался в механике и после рабочего дня чертил проекты небольшого металлургического завода.

Продолжая увлекаться социальными вопросами, я с большим интересом следил за волнениями виноделов, всколыхнувшими в 1907 году весь юг Франции. Когда же, в июне этого года, население Перпиньяна пошло брать приступом префектуру полиции, я, конечно, был среди нападающих.

В январе 1908 г., за несколько месяцев до призыва на военную службу, не получив отсрочки, я решил поступить добровольцем в военный флот в качестве матроса-механика. Усердно позинявшись, я выдержал вступительный экзамен.

В 1909 г. уже чином выше меня назначают на бронеполовец «Отечество». Здесь, благодаря моим знаниям и репутации прямого и работающего человека, я приобретаю известное влияние на своих товарищей.

В 1910 году я был отправлен в Идзу-Китай, где в течение 18 месяцев под жгучим тропическим небом веду тяжелую, полную лишений жизнь. Здесь я пишу свои впечатления и бичую порядки в военном флоте, в котором в это время особенно участились несчастные случаи, в роде взрыва на судне «Свобода». Достается, конечно, и офицерам и чиновникам за их гнусные оргии.

Возвратившись в 1912 году в июне во Францию, я сотрудничаю в антимилитаристской газете «Клич Моряка», пользовавшейся в Тулоне большим успехом среди матросов и закрывшейся в начале 1913 года за отсутствием средств.

В сентябре с экипажем, сколоченным из дисциплинарных (штрафных) элементов всей эскадры, я на военном корабле «Жюльен-де-ля Гравьер» отправляюсь в Марокко. Вернувшись оттуда в ноябре 1912 г., командуюсь с дивизией крейсеров в Константинополь. Там, пользуясь новым уставом, я решаю сдать экзамен на офицера-механика, как промежуточную ступень к диплому гражданского инженера, открывающему доступ к сравнительно независимому положению.

Вернувшись во Францию и сдав несколько экзаменов, я освобождаюсь от военной службы, но ненадолго: при первой угрозе войны меня вновь призывают на службу.

Накануне мобилизации меня откомандировывают на броненосец «Мирабо». Капитан корабля Бо и командиры Франк и Румье — бездарные и злобные — презращают службу в на-

стоящую каторгу, сплошной ад. Казалось, что начальство броненосца задалось целью спровоцировать бунт среди экипажа, чтобы получить возможность путем кровавых репрессий раз навсегда предотвратить в корне все попытки возмущения. Вскоре после отплытия, уже в первые дни войны, меня и моих товарищей механиков торжественно предупреждают, что при малейшем проступке с нашей стороны мы судом преданы военному суду. При этом начальство поставило нам на вид, что мы не проявляем достаточного рвения к работе и не поддерживаем среди матросов военного энтузиазма.

Все требования дисциплинарных взысканий офицеры вносили в штрафные тетради, при чем снабжали эти требования поддельными подписями своих подчиненных. В случае мятежа они надеялись таким образом избежать справедливой мести экипажа. Особенной жестокостью и бездарностью отличались офицеры-механики. Один из них, В., беспробудный пьяница, нагло, пинками заставлял кочегаров спускаться в машинное отделение. По этому поводу рабочими арсенала в Тулоне был вынесен протест. Другой был почти душевно-больной, а третий—страдал религиозным помешательством. Эти ничтожные, завистливые люди ненавидели меня от всей души.

Несмотря на важную работу, которую я нес, меня однажды посадили под арест только за то, что корабль был слабо освещен и что я отказался назвать фамилии дежурных источников.

В июне 1913 г. я примкнул к франк-масонству, считая его революционной организацией. После первых же собраний, я совершенно в нем разочаровался. В ноябре 1915 г., в разгар войны, я получил отпуск и прочел в Перпиньяне доклад о порядках, царящих во флоте. В этом докладе я настоятельно требовал от социалистических главарей франк-масонства энергичного вмешательства в эти порядки, в противном случае предсказывал неминуемое восстание во флоте. Пролитая кровь, сказал я, будет лежать на вашей совести. Доклад этот сильно взволновал слушателей, но, тем не менее, собрание не ударило пальцем о палец, несмотря на мои настойчивые убеждения, для предупреждения событий. В результате я окончательно порвал всякие сношения с этим тайным буржуазным обществом.

В декабре 1915 г. я ушел в плаванье на миноносце «Палаш», прикомандированном французским правительством к флотилии в Адриатическом море, находившейся в распоряжении Италии после вступления ее в войну.

По прибытии в Бриндизи 23 января 1916 г. миноносец потерпел крушение у самого входа в порт. Мне и моим помощникам механикам, после недели напряженной работы, уда-

лось исправить повреждения. Офицеры, под разными предлогами, разбежались, оставшиеся же проявили поразительную неадекватность.

Командир миноносца, капитан Маке, благодаря показаниям которого в деле «Прованс» был осужден наш товарищ Тюре, вел себя невероятно глупо: лежа на палубе и заливаясь горячими слезами, он умолял всех спасти «Палаш». Мне пришлось пристыдить его.

Когда вода из полузатопленного миноносца была выкачана, пришлось срочно приложить в порядок машины и котлы. Однако мои заслуги не только были вскоре забыты начальством, но оно же еще грозило мне судом за скандал на корабле. Скандал этот заключался в следующем. Один из старших офицеров хотел подвергнуть дисциплинарному взысканию младшего механика за плохую выправку. Тот пожаловался мне, и между мною и старшим офицером вспыхнула ожесточенная ссора. Виновным был, конечно, признан я.

После тяжелого перехода миноносец дал течь, и в Неаполе он чуть не потонул. Пришлось сделать длительную остановку. В это время офицеры посещали всевозможные притоны. По прибытии в Тулон я был посажен под арест за то, что в приутствии всего экипажа сказал старшему офицеру: «Ловите момент! Вы не вечно будете господами положения. Наступит день, когда смеяться будем мы».

Все механики и инженеры утверждали, что если бы я не взял на себя исправления машин, этот миноносец навсегда вышел бы из строя.

В январе 1917 г. я, в вознаграждение за мою работу, был снова арестован на 8 дней со строгой изоляцией «за отказ от повиновения на территории, объявленной на осадном положении».

Благодаря братской помощи рабочих арсенала и матросов, тайно доставлявших мои письма в город, мне удалось избежать военного суда. Но зато дальнейшая жизнь на корабле стала невыносимой, и по моей просьбе меня перевели на другой того же типа миноносец («Коса»). Тяжелая работа на миноносцах в Адриатическом море и подготовка к экзаменам поглотили у меня весь 1917 год.

В июле 1917 г. я получил диплом гражданского инженера. Мне был сначала поручен ремонт миноносца «Коса», а затем заведывание машинным отделением миноносца «Протэ». Этот новый миноносец, построенный на французских государственных верфях и вступивший в строй 2 августа 1914 г., был, что называется, калошей; скорость его не превышала 22 миль в час. После нескольких месяцев работы я увеличил его скорость до 26½ миль и подобрал толковый состав машинистов и кочегаров.

Чтобы хоть несколько отвлечься от бешенства, в которое меня приводила мысль о бесплодной потере времени в этой бесконечной войне, я принялся за изучение турбин, нефтяных топок и холодильников.

Благодаря моим стараниям, «Протэ» был признан первым по исправности и быстрходности миноносцем в Адриатическом море. За это мне официально выражена была похвала от морского министерства.

По мере того, как война все больше и больше разгоралась, росло с каждым днем и мое негодование. Я дошел до того, что мог спокойно работать только у своих машин, в среде моих братьев-механиков. Надо сказать, что командный состав беспрепятственно меня провоцировал. Командир корабля был высокомерный дворянчик. Принятый в офицерскую среду, — мой чин делал меня на это привилегированным, — я, конечно, никак с этой средой не мог ужиться. Старший офицер, лейтенант Герен, был ярким роялистом и постоянно хвастал тем, что брат его — один из тех драгунских офицеров, которые доблестно расстреливали рабочих-землекопов в Дравей-Винье в 1908 году. Между ним и мною была постоянная вражда, то скрытая, глухая, то вспыхивавшая публично в резких формах. Командный состав судна представлял собою настоящую реакционную свору.

В июле 1918 г. корабль отправился в Неаполь для ремонта машин. Условия труда были ужасны. Среди экипажа, преимущественно среди машинистов и кочегаров, вспыхнула эпидемия испанки. Из 33 человек 27 пришлось отправить в госпиталь, а у троих, в том числе и у меня, появилось сильное кровохарканье. Несмотря на предложенный мне после выписки из госпиталя трехмесячный отпуск, я сейчас же снова принялся за работу: мне хотелось довести до конца начатый под моим руководством ремонт машин.

Корабль, приведенный в порядок, награвился в обратный путь, но, вследствие разложения австрийского флота, частью потопленного, частью взбунтовавшегося, произошла перегруппировка наших морских сил, и «Протэ» присоединился в Мудросе к эскадре, блокировавшей Дарданеллы. Это было в середине октября. В это время умер мой отец, истощенный непосильным трудом. Телеграмма, извещавшая меня о смерти отца, гримбала в Тарент через несколько часов после моего отплытия, и я получил ее только три недели спустя. Офицеры вели себя в это время по отношению ко мне хуже самых черствых закоренелых бандитов: видя выражение сердечного сочувствия к моему горю со стороны всего экипажа, они нарочно устроили шумную оргию и грели весь вечер в пьянстве и разгуле. Мне стоило громадного усилия воли сдержаться.

13 ноября «Протэ» прибыл с эскадрой из Мудроса в Константинополь. С сентября кораблем командовал капитан Велфелле, человек чрезвычайно ловкий, хитрый, скардный и тщеславный. Поддерживаемый франк-масонами, к которым он принадлежал, он быстро повышался в чинах. С момента его вступления на корабль между ним и мною, без видимой причины, возникла ожесточенная борьба. Борьба эта началась с тайных подвохов, затем пошли открытые грубые, незаслуженные придирки. Велфелле почувил во мне человека, презирающего власть и видящего его насковзь. Благодаря сильной протекции, Велфелле был отправлен со специальной миссией в Румынию. После нескольких рейсов из Константинополя в Галац и обратно отношения настолько обострились, что я обратился к командиру корабля с письменной просьбой об отставке. Последний отказался дать ход прошению, мотивируя свой отказ тем, что «война еще не окончена, а есть только перемирие, и поэтому просьба об отставке принята быть не может».

С этой поры моя борьба с капитаном и офицерами становится все ожесточеннее. В начале декабря, когда корабль стоял в Галаце, мне было приказано приготовить к плаванию яхту бывшего посланника в Константинополе «Жанна Бланш», секвестрированную во время войны.

Однажды, когда на «Жанну Бланш» грузили уголь, я заметил, что с одного захваченного турецкого судна перебрасывают на палубу «Жанны Бланш» огромный тюк мануфактуры, обманув бдительность румынских жандармов. Я поднял тревогу, и румынская стража, при вервах хохота французских матросов, знавших в чем дело, заставила турок перегрузить этот тюк обратно на свое судно. Ясно было, что капитан Велфелле собирался получить от турецкого командира «подарочек». Смущенный Велфелле пытался позже об'яснить мне, что бумажная материя предназначалась на «одеяла» для матросов.

После этого инцидента ненависть командира Велфелле ко мне возросла еще более, и этим об'ясняется ряд подлостей и подделок документов, совершенных им после моего ареста.

На этом я закончу мою биографию. В дальнейшем выяснится моя роль в истории восстания, его подавления и моего тюремного заключения. На основании документов будет доказано, что я ни разу не падал духом и не упустил ни единого случая для революционной агитации и пропаганды, как во время восстания, так и во время моего заключения. Таким образом, можно убедиться в том, насколько бессмысленны и возмутительны были обвинения, возведенные на меня французской буржуазией. Для характеристики этих обвинений остановимся на одном из них. Члены монархистской «Action Française»

обвиняли меня в жестоком обращении с матросами. Нелепость этого бросается в глаза. Как офицер механик, я руководил только техническими работами и не имел никакого отношения к порядкам, господствовавшим на корабле. Все мои подчиненные, как, например, Жиллю, Буйе и др., публично опровергли эти обвинения. Я никогда ни к чему не относился безучастно и всегда горячо отстаивал то, что считал справедливым. Эта черта моего характера и подала повод к вышеупомянутой клевете. Во время своего пребывания во флоте я жил непрямой ненавистью ко всему, связанному с аристократией, офицерством, политическим карьеризмом и прислужничеством. Я никогда не упустил случая больно уколоть тех, кто брался за гнусную роль шпиона. Немало натерпевшись сам, будучи матросом, от организованного шпионства во флоте, я старался, где только мог, по мере сил, оказывать поддержку своим классовым товарищам механикам, находившимся под моим техническим наблюдением.

Клеветники не могли ни на что опереться в моем прошлом. Я сознательно отказался от блестящей карьеры в буржуазном обществе и предпочел остаться с пролетариатом. Поэтому им осталось только лгать. Но пролетариат Парижа и Франции не дал себя обмануть и вынес свое суждение.

Б а д и н а.

Бадина—сын зажиточного тунисского колониста. Воспитанный в колониальной школе в Тунисе, он 18 лет поступил во флот.

На миноносце «Протэ» он в качестве матроса-механика обратил на себя мое внимание своей энергией и страстностью, с какой он защищал своих товарищей от полицейских провокаций.

Хороший работник, с техническими познаниями выше средних, Бадина, когда разыгралось дело «Протэ», имел уже сравнительно высокий технический чин. Ему было всего 20 лет, но на вид он казался гораздо старше. Его роль на корабле выяснится из дальнейшего. По выходе из тюрьмы Бадина, мало знакомый с социальными науками, попал под влияние политических карьеристов, врагов коммунизма и ненавистников русско-и революции. Он забыл, чем он обязан был рабочему классу, вырвавшему его из тюрьмы. Он был исключен в 1924 г. при неприятных обстоятельствах из профсоюза металлистов в Марселе.

Пролетариат расценивает теперь Бадина иначе, чем в 1921 г., когда он защищал в нем не человека, а идею.

Товарищи с корабля „Вольтер“.

Больше всего потерпели самые молодые.—Шампаль и Воттеро, полные жизни и отваги, казавшиеся совсем детьми. Достоинство удивления их мужество во время восстания и их неугасаемая вера в свое дело в долгие месяцы тюремного заключения.

Рулевой Дюлю неизвестно почему был осужден на 15 лет. В этом осуждении сказалась вся нелепость военных судов. Судьи обрушились на человека, в котором не было и тени революционности.

Упомянем еще Ролана из Гавра, Алквье, энергичного, неукротимого провансальца, и Валле. Это были люди с железной волей. Из них особенно интересен Валле: рабочий-механик, сын рабочего, уроженец Белльвилля, — того предместья Парижа, где пали поледчие коммунары 1871 г., — он, с момента вступления на борг «Вольтера», приобрел огромное влияние на своих товарищей. Это не замедлило позлечь за собой ненависть к нему всего офицерского состава. Неумолимый пропагандист, всего девятнадцати лет от роду, он был редким примером человека, у которого дело никогда не расходилось со словом. Когда в январе 1919 года электротехники Туниса и Бизерты об'явили стачку, комендант призвал к себе Валле, которого он очень ценил, как работника, и спросил его, в какой из этих двух городов он хочет быть командиром в качестве механика. «Я не поеду ни в Тунис ни в Бизерту», — ответил Валле. — Я останусь работать здесь. Я рабочий, и на штрейкбрехерство никогда не пойду». Сказав это, он уехал на берег и вернулся только на следующий день, после отхода поезда со штрейкбрехерами. Его не посмели наказать. Он был всегда окружен любовью не только своих сотоварищей, но и рабочих арсенала, которые своими справками о нем во время его ареста немало ему повредили. Следующий небольшой эпизод лучше всего обрисовывает личность Валле. В феврале 1918 г. крейсер «Шаторено», на котором он находился, был потоплен в канале Отронта. Валле, стоя на плоту, переполненном потерпевшими крушение, заметил солдата, с трудом державшегося на воде и пытавшегося взобраться на плот. Командир, опасаясь, что плот пойдет ко дну, не брал солдата. Тогда, крикнув утопавшему: «займи мое место», Валле бросился в воду.

Мы увидим из дальнейшего, какую энергию он проявил во время своего тюремного заключения.

По выходе из тюрьмы Валле прослужил еще 8 месяцев в Шербурге. Он не отказался от своего прошлого и с неумолимым рвением отдался пропаганде среди моряков, развивая в них сознание их классового долга.

В августе 1922 г., когда расстреливали забастовщиков в Гавре, он организовал в их пользу денежные сборы, не побоялся вскоре затем выступить в качестве защитника одного из товарищей, которого военный суд обвинял в нанесении побоев своему начальнику.

Из описания бунта на корабле «Вольтер» будет видно, что Валле был одной из самых ярких и привлекательных фигур среди мятежников Черного моря.

Товарищи с корабля „Туарег“

Первое место среди них занимает механик Фон, работавший на беспроволочном телеграфе. Уроженец юга Франции, человек с большим темпераментом, он вложил в дело пропаганды столько воодушевления и энергии, что увлекал даже самых колеблющихся.

Во время своего тюремного заключения он вел себя как истинный революционер. Он твердо отстаивал свои взгляды и открыто выражал палачам свое презрение. Он говорил им о своей уверенности в конечной победе его идеалов и, не боясь никаких репрессий, протестовал против грубости и жестокости тюремщиков.

Интервенция.

Две революции 1917 года.

12 марта 1917 г. царское правительство пало почти без кровопролития под напором объединенных сил революционеров и либеральной буржуазии.

Было организовано «Временное Правительство» из кадетов, как Милюков, и эс-эров, в лице Керенского, под председательством князя Львова.

В то же время в Ленинграде был избран Совет рабочих и солдатских депутатов из 2.000 членов, состоявший в большинстве из меньшевиков и социалистов-революционеров.

Состав Совета делился на три группы. Одна из них, в лице большевиков, с примыкавшей к ней небольшой группой анархистов, стояла за углубление революции в социалистическом духе. Другая, социалисты-революционеры, опиравшаяся преимущественно на мелкую буржуазию, была сторонницей соглашения с капиталистами. Наконец, третья, реформистская фракция социал-демократической партии, так называемые меньшевики, находилась в оппозиции к революционной фракции большевиков.

Из неревлюционнных партий самой многочисленной была партия «кадетов»—конституционалистов-демократов,—в Совете не представленная.

Сейчас же после революции возникла борьба между Советом и Временным Правительством из-за того, что последнее повело политику неревлюционную, а империалистическую, давая возможность контр-революции организовать свои силы.

Ленинградский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, по мере того, как в нем изо дня в день росло влияние большевиков, требовал себе все больше прав и предъявлял все больше требований к Временному Правительству. Недовольство последним захватывало широкие круги и вскоре сделало всеобщим. Это произошло, во-первых, потому, что ненавистной войге не видно было конца. Во-вторых, крестьяне, надеявшиеся немедленно получить землю, стали терять веру в возможность полу-

чения ее легальными путями. Наконец, в-третьих, правые реакционеры во главе с Корниловым, мечтавшие восстановить прежний царский режим, стали реальной угрозой для молодой республики.

При этих условиях рабоче-крестьянские массы, видя бессилие и неспособность социалистов-революционеров, возглавляемых Керенским, управлять страной, все более и более отворачивались от Временного Правительства.

Ленин, вернувшийся в Россию в апреле 1917 г., зорко наблюдал за каждым шагом правительства Керенского и безжалостно разоблачал его ошибки. Партия большевиков неустанно бросала в массы его лозунги: хлеб—голодающим, мир—народам, земля—крестьянам, вся власть—советам.

7 ноября 1917 года восставшие рабочие, солдаты и матросы прогнали Временное Правительство. Второй Съезд Советов взял в свои руки власть и начал осуществлять большевистские лозунги. Движение это постепенно перекинулось в провинцию, но с некоторым запозданием, в зависимости от отдаленности той или иной губернии от центра. В Москве власть перешла к Советам несколько дней спустя. На Украине (в Харькове, Киеве, Одессе, Херсоне, Николаеве), после целого ряда перемен, властью завладела мелко-буржуазная националистическая партия. В Крыму, несколько позже, власть перешла в руки кадетской партии, с участием меньшевиков и эс-ров Крыма, а затем, с приходом немцев,—к реакционному правительству генерала Сулькевича.

Что касается монархистов, офицерства и юнкерства,—они все сконцентрировались после революции на окраинах: в Сибири, на Юго-Востоке, в Донской области и на Кавказе. На Юго-Востоке они постепенно сформировали, под начальством генерала Алексева и Корнилова, а позже генерала Деникина, контр-революционную, так называемую добровольческую, армию.

Украина в 1918 году.

В январе 1918 года австро-германские войска заняли Украину, по приглашению Украинской Центральной Рады. Это буржуазное правительство призвало немцев занять Украину, чтобы очистить ее от Советов рабочих и солдатских депутатов. После непродолжительных боев красные войска были вытеснены с юга и отброшены в сторону Херсон—Николаев, с одной стороны, и к Донецкому бассейну, с другой.

Укрепившись на территории Украины, австро-германцы, недовольные недостаточной гибкой для них Радой, лишили ее власти и передали ее гетману Скоропадскому, которого поддерживала крупная буржуазия и крестьянские кулаки. Против Скоропадского вскоре выступил авантюрист Петлюра. Опираясь на мелко-буржуазные и националистические элементы Украины и имея в своем распоряжении армию, составившуюся из крестьян

и осколков разбитых в Галиции войск, Петлюра располагал довольно значительными силами и сделался опасным соперником гетмана. Тогда Скоропадский обратился за содействием к добровольческой армии. Он передал командование войсками ген. Келлеру, ставленнику Деникина. Первым актом генерала Келлера в Киеве было воззвание, обращенное к населению, в котором утверждалось, что «германские войска находятся на территории Украины для защиты существующего режима и что всякое противодействие им будет подавляться силою оружия». Это было в начале ноября 1918 года. Потом доброзольцы выпустили такое же точно воззвание на территории, занятой войсками Антанты.

В начале ноября немцы, потерпевшие большие потери во время партизанской войны, начали эвакуировать Одессу, согласно заключенного 11 ноября 1918 года перемирия. В городе оставались только несколько отрядов, остальные силы стянуты были к Херсону и Николаеву.

В это время в Одессе не было определенной власти, вернее, там царило многовластие: власть одновременно находилась в руках городской думы, добровольческой армии, третьего армейского корпуса, колебавшегося между Скоропадским и Петлюрой и, в конце концов перешедшего на сторону Петлюры, и, наконец, Совета рабочих депутатов. Каждая из этих организаций, считала только себя единственной законной властью.

Настроение рабочих было очень повышенное. Известие о германской революции 8 ноября 1918 года было встречено рабочими Одессы с восторгом. Большевиками распространены были в большом количестве воззвания и прокламации. Решено было праздновать германскую революцию большой манифестацией. Организовать эту манифестацию должны были меньшевики, эсеры, большевики и кое-кто из анархистов. 20 ноября ген. Мустафин, одесский губернатор, запретил манифестацию. В ответ на это возмущенные рабочие объявили политическую забастовку, выставив требования: освобождение политических заключенных, свобода слова и собраний и признание Созета. Меньшевики, несмотря на огромное влияние, которым они пользовались в профсоюзах (как почти повсюду в то время), вынуждены были примкнуть к забастовке. Таким образом, забастовка в принципе была решена. В это время в Одессу прибыл некий Энно, называвший себя в воззваниях «французским консулом в Киеве» и сыгравший видную роль во всех гнусных реакционных интригах.

В интервью от 23 ноября этот самозванный «консул» Энно сообщил о предстоящем прибытии на Украину союзных войск с целью восстановления порядка. «Все революционные элементы», заявил он, — «будут бесжалостно подавлены, но в борьбу партий и в политику мы вмешиваться не будем». Это та же самая декларация, которая в свое время почти слово в слово была сделана ■

немцами, и мы вскоре увидим, как она проводилась в жизнь. Энно занял на Николаевском бульваре один из самых лучших особняков в городе. В нем до сих пор сохранились еще следы происходивших там оргий.

25 ноября 1918 г. вспыхнула всеобщая забастовка, длившаяся двое суток. Жизнь в городе совершенно остановилась. Так называемые правительства в городе были перепуганы забастовкой. К несчастью, меньшевики, согласно своей исторической роли, пошли на попятный, и под их давлением Совет, в котором они располагали подавляющим большинством, 27 ноября прекратил забастовку. Они об'явили в глупейшей прокламации, что «рабочий класс показал свою мощь, и в нужный момент сумеет продолжать борьбу», а между тем данный момент представлялся наиболее благоприятным для захвата власти в свои руки. Это было предательством в полном смысле слова.

Одесский генерал-губернатор, питавший доверие к меньшевикам, опубликовал тогда воззвание, в котором было об'явлено: «1) Освобождаются все политические заключенные, за исключением тех, которые арестованы за деяния, квалифицируемые, как уголовные (т.-е. за исключением всех коммунистов, к которым было гред'явлено именно это обвинение). 2) Разрешается городской думе возобновить свои занятия. 3) Допускается свобода печати при условии, если не будут подрываться основы установленного строя (что, по существу, являлось за решением большевистской прессы). 4) Разрешается свобода собраний, если целью их не является борьба с существующим режимом (что не давало, следовательно, свободы сходок революционерам)». Эти уступки, таким образом, ничего хорошего не сулили революционерам, и они оставались попрежнему на нелегальном положении.

В это время на Украине националистическое движение, возглавляемое Петлюрой, все росло и угрожало не только гетману, вопарившемуся в Киеве, но и добровольцам, избравшим своей базой Одессу.

(Продолжение в следующем номере.)

Тезисы ответа германским „независимым“ на предложение переговоров *)

Насколько помню, это писалось перед 2-м Конгрессом Коминтерна. Предполагалось опубликовать от имени ЦК РКП.

Кажется, потом решили этого не делать. Мне кажется, что письмо послано не было.

Содержание письма вошло в главные резолюции II Конгресса—в том числе, в знаменитые 21 условия.

30/XI—24 г.

Г. Зиновьев.

Дождавшись *официального* предложения независимцев (немецких) о переговорах, мы теперь, как партия, должны ответить им вполне откровенно, без той «дипломатии», которая до известной степени обязательна для Коммунистического Интернационала.

И ответить надо так, чтобы разъяснить дело массам рабочих, сочувствующих диктатуре пролетариата и советской системе,— рабочих, коих не только в Германии, но и во Франции и в Англии и еще в ряде стран *обманывают* (сознательно и бессознательно, т.-е. в силу самообмана) вожди, только на словах лишь подписывающиеся под этими популярными среди рабочих лозунгами (диктатура пролетариата и советская власть), на деле же ведущие работу, пропаганду, агитацию и пр., по старому, не в духе этих лозунгов, в духе, противоречащем этим лозунгам.

Нижеследующее—черновой набросок тезисов такого ответа (от Р. К. П. немецкой независимой социал-демократической партии):

(Порядок пунктов *тоже* должен быть еще переделан.)

1. Диктатура пролетариата означает умение, готовность, решимость привлечь на свою сторону (на сторону революционного авангарда пролетариата) всю массу трудящихся и эксплуатируемых мерами революционными, ценой экспроприации эксплуататоров.

Этого в повседневной агитации немецких независимцев (в «Фрейхейт», напр.) нет. Нет этого и у лонгетистов...

*) На рукописи пометка карандашом, сделанная рукой В. И. Ленина: „Прошу переписать к 11^{1/2} часам в 4 экземплярах“.

2. В частности, особенно необходима такая агитация для деревенских пролетариев и полупролетариев, а равно мелких крестьян (крестьян, не употребляющих наемного труда даже в горячее время жатвы и т. п., крестьян, мало продающих хлеба или не продающих его).

Этим слоям населения надо ежедневно, архипросто, популярно объяснять конкретнейшим образом, что пролетариат, овладев государственной властью, даст им, на счет экспроприированных помещиков, немедленное улучшение их положения. Даст им избавление от гнета крупных землевладельцев, даст им, как целому, крупные имения, избавление от долгов и так далее и тому подобное. То же и городской непролетарской или не вполне пролетарской трудящейся массе.

Такой агитации немецкие независимцы (как и лонгетисты) не ведут.

3. Советская система есть разрушение той буржуазной лжи, которая называет «свободой печати» свободу подкупа печати, свободу покупки газет богачами, капиталистами, свободу для капиталистов скрывать согни газет и тем подделывать так называемое «общественное мнение».

Этой истины немецкие независимцы (говоря о них, всегда будем разуметь и лонгетистов, и английских независимцев, и так далее и тому подобное) не сознают, не проводят ее, не агитируют ежедневно за уничтожение революционным путем того порочного пресса капиталом, которого ложная, т.-е. буржуазная, демократия ложно называет свободой печати.

Не ведая такой агитации, независимцы лишь на словах признают (Lippenb k ntniss) советскую власть, а на деле остаются всецело податливыми присудком буржуазной демократии.

Экспроприация типографий и складов, запасов бумаги; этого *главного* разъяснить не умеют, ибо сами не понимают.

4. То же относится к свободе собраний (это—ложь, пока богачи владеют лучшими зданиями или покупают общественные здания), к «вооружению народа», к свободе совести (=свободе для капитала покупать и подкупать целые церковные организации для одурманивания масс религиозным опиумом) и ко всем прочим буржуазно-демократическим свободам.

5. Диктатура пролетариата означает свержение буржуазии *одним* классом, пролетариатом, и при том именно его революционным авангардом. Требовать, чтобы *предварительно* этот авангард приобрел себе *большинство народа* путем голосования в буржуазные парламенты, буржуазные учредилки и прочее, то-есть путем голосования *при существовании наемного рабства*, при существовании эксплуатации, под их гнетом, при существовании частной собственности на средства производства, требовать этого или предполагать это—значит, на деле совершенно покидать точку зрения диктатуры пролетариата и переходить фактически на точку зрения буржуазной демократии.

Именно так поступают немецкие независимцы и французские лонгетисты. Повторяя фразы мелко-буржуазных демократов о большинстве «народа» (обманутого буржуазией и придавленного капиталом), эти партии объективно стоят еще на стороне буржуазии против пролетариата.

6. Диктатура пролетариата предполагает и означает ясное сознание той истины, что пролетариат, в силу своего объективного, экономического положения во всяком капиталистическом обществе, правильно выражает интересы *всей* массы трудящихся и эксплуатируемых, всех полупролетариев (т.-е. частично живущих продажей рабочей силы), всех мелких крестьян и тому подобное.

Эти слои населения идут за буржуазными и мелко-буржуазными (в том числе «социалистическими» партиями II Интернационала) не в силу свободного волеизъявления (как думает мелко-буржуазная демократия), а в силу прямого обмана их буржуазией, в силу гнета над ними капитала, в силу самообмана мелко-буржуазных вождей.

Эти слои населения (полупролетариев и мелких крестьян) пролетариат привлечет на свою сторону, сможет привлечь на свою сторону лишь *после* своей победы, лишь после завоевания государственной власти, то-есть после того, как он свергнет буржуазию, освободит этим *всех* трудящихся от гнета капитала и *покажет* им на практике, какие блага (блага свободы от эксплуататоров) дает пролетарская государственная власть.

Этой мысли, составляющей основу и суть идеи диктатуры пролетариата, немецкие независимцы и французские лонгетисты не понимают, не внедряют ее в массы, не пропагандируют ежедневно.

7. Диктатура пролетариата означает сознание необходимости подавить насильем сопротивление эксплуататоров, готовность, умение, решимость сделать это. А так как буржуазия, даже самая республиканская и демократическая (например, в Германии, в Швейцарии, в Америке), систематически прибегает к погромам, к линчеванию, к убийству, к военному насилию, к террору против коммунистов и на деле против всяких революционных шагов пролетариата, то при этих условиях отречься от насилия, от террора—значит, превращаться в плаксивого мелкого буржуа, значит, сеять реакционные мешанские иллюзии о социальном мире, значит—говоря конкретно—трусить рубаки-офицера.

Ибо преступнейшая и реакционнейшая империалистическая война 1914—1918 годов воспитала во всех странах и выдвинула на авансцену политики во всех, даже самых демократических, республиках именно десятки и десятки тысяч реакционных офицеров, готовящих террор и осуществляющих террор в пользу буржуазии, в пользу капитала против пролетариата.

Поэтому-то отношение к террору, которое проявляют на деле в парламентских речах, в газетных статьях, во всей агитации и пропаганде немецкие независимцы и французские лонгетисты,

есть фактическое полное отречение от сущности диктатуры пролетариата, есть фактический переход на позицию мелко-буржуазной демократии, есть *развращение* революционного сознания рабочих.

8. То же относится к гражданской войне. После империалистской войны, перед лицом реакционных генералов и офицеров; применяющих террор против пролетариата, перед лицом того факта, что *новые империалистские войны уже готовятся* теперешней политикой *всех* буржуазных государств,—и не только готовятся сознательно, но и вытекают с объективной неизбежностью из всей их политики,—при таких условиях, в такой обстановке, оплакивать гражданскую войну против эксплуататоров, осуждать ее, бояться ее—это значит становиться на деле реакционером.

Это значит бояться победы рабочих, которая может стоить десятков тысяч жертв, и наверняка допускать новую бойню империалистов, которая стоила вчера и будет стоить завтра миллионы жертв.

Это значит *поощрять* фактически реакционные и насильнические замашки, замыслы и приготовления буржуазных генералов и буржуазных офицеров.

Именно так реакционна на деле слащавая, мелко-буржуазная, сантиментальная позиция немецких независимцев и французских лонгетистов в вопросе о гражданской войне. Закрывают глаза на происки белой гвардии, подготовку ее буржуазией, создание ее буржуазией и лицемерно, фарисейски (или трусливо) отворачиваются от работы по созданию красной гвардии, красной армии пролетариев, способной подавить сопротивление эксплуататоров.

9. Диктатура пролетариата и советская власть означают ясное сознание необходимости *разбить*, сломать вдребезги буржуазный (хотя бы и республикански-демократический), государственный аппарат, суды, бюрократию, гражданскую и военную; и так далее.

Ни сознания этой истины ни повседневной агитации в ее пользу немецкие независимцы и французские лонгетисты не обнаруживают. Хуже того: они ведут *всю* агитацию в *противоположном* духе.

10. Всякая революция (в отличие от реформы) означает кризис и весьма глубокий кризис, как политический, так и экономический, сама по себе. Это—независимо от кризиса, созданного войной.

Задача революционной партии пролетариата—разъяснить рабочим и крестьянам, что надо иметь мужество смело встретить этот кризис и найти в революционных мерах *источник силы* для преодоления этого кризиса. Только преодолевая величайшие кризисы с революционным энтузиазмом, с революционной энергией, с революционной готовностью на самые тяжелые жертвы, пролетариат может победить эксплуататоров и окончательно *избавит*

человечество от войн; от гнета капитала; от наемного рабства.

Иного выхода нет, ибо реформистское отношение к капитализму породило вчера (и неизбежно породит завтра) империалистскую бойню миллионов людей и всякие кризисы без конца.

Этой основной мысли, без которой диктатура пролетариата есть пустая фраза, независимцы и лонгетисты не понимают, в своей пропаганде и агитации ее не обнаруживают, не разъясняют массам.

11. Независимцы и лонгетисты не углубляют, не развивают в массах сознания гнилости и гибельности того реформизма, который фактически преобладал во II Интернационале (1889—1914) и погубил его, а затемняют это сознание, ватушевывают боязнь, не вскрывают, не разоблачают ее.

12. Выйдя из II Интернационала, осуждая его на словах (напр., в брошюре Криспина), независимцы на деле протягивают руку Фридриху Адлеру, члену австрийской партии господ Носке и Шейдеманов.

Независимцы терпят в своей среде литераторов, сплошь отрицающих все основные понятия диктатуры пролетариата.

Это расхождение слова с делом характеризует всю политику *вождей* партий независимцев в Германии, лонгетистов во Франции. Именно вожди разделяют предрассудки мелко-буржуазной демократии и реформистски-развращенных верхушек пролетариата, вопреки революционным симпатиям рабочих *масс*, тяготеющих к советской системе.

13. Независимцы и лонгетисты не понимают и не разъясняют массам, что империалистские сверхприбыли передовых стран позволили им (и позволяют теперь) *подкупать* верхушки пролетариата, бросать ему крохи сверхприбыли (получаемой от колоний и от финансовой эксплуатации слабых стран), создавать привилегированный слой обученных рабочих и т. п.

Без разоблачения этого зла, без борьбы не только с тред-юнионистской бюрократией, но и со всеми проявлениями цехового мещанства, рабочей аристократии, привилегий верхнего слоя рабочих, без беспощадного изгнания представителей этого духа из революционной партии, без апелляции к *низам*, к более и более широким *массам*, к настоящему *большинству* эксплуатируемых— не может быть и речи о диктатуре пролетариата.

14. Нежелание или неумение порвать с верхушечками рабочих, зараженными империализмом, обнаруживается у независимцев и лонгетистов также тем, что они не ведут агитации за прямую и безусловную поддержку *всех* восстаний и революц[ионных] движений колониальных народов.

При таких условиях осуждение колониальной политики и империализма становится лицемерием или пустым вздыханием тупого мещанина.

15. Независимцы и лонгетисты не ведут агитации в войске (за вступление в войско *с целью* подготовки его перехода на это-

рону рабочих *против* буржуазии). Они не создают организаций для этого.

Они не отвечают на насилия буржуазии, на бесконечные нарушения *ею* «законности» (как во время империалистской войны, так и после ее окончания) систематической пропагандой *нелегальных организаций* и созданием их.

Без соединения легальной работы с нелегальной, легальных организаций с нелегальными не может быть и речи о действительно революционной партии пролетариата ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Италии, ни во Франции, ни в Америке.

16. В общем и целом вся пропаганда, вся агитация, вся организация независимцев и лонгетистов—более *мещански-демократическая*, чем революционно-пролетарская;—*пацифистская*, а не социально-революционная.

В силу этого «признание» диктатуры пролетариата и советской власти остается словесным.

Итог: при таком положении дела Р. К. П. находит единственно правильным не соединяться с независимцами и лонгетистами в один Интернационал, а *выждать*, пока революционные массы французских и немецких рабочих *исправят* слабость, ошибки, предрассудки, непоследовательность таких партий, как независимцы и лонгетисты.

В Ком[мунистическом] Интернационале таким партиям, по мнению Р. К. П., не место.

Р. К. П. не отказывается, однако, от *совещаний* со всеми партиями, желающими совещаться с нею, знать ее мнение.

Психология в свете марксизма¹⁾.

Для выяснения связи между историческим материализмом и психологией отметим прежде всего общий характер учения марксизма.

Как известно, исторический материализм отличается одной господствующей чертой. Эта теория рождена не отвлеченным знанием или естественными науками. В центре ее стоит живой человек, как он дается реальной действительностью в ее историческом развитии. Это не отвлеченный человек XVII или XVIII веков, как его изображали теории естественного права, разума и природы. Это вместе с тем не результат сентиментальной фантазии, которая создает в романтическом образе предмет своих безбрежных симпатий и мечтаний. Живой человек марксизма—это есть человек, исторически пришедший путем труда и технических изобретений от полуживотного состояния к современной своей природе. Это реальный человек общественного стада, а затем социально расчлененного общества. Это деятель, который противопоставит природе свою организацию, основанную на активном приспособлении или производстве. Существо, которое работает не одними руками, но всей мощью своего нервно-мозгового аппарата, и вместе с тем под влиянием им же самим созданной технической обстановки претерпевает существенные изменения приращенной конституции организма. Это, наконец, создатель искусственного мира, при помощи которого он побеждает природу и устанавливает сознательную и целесообразную организацию борьбы с ней.

Теория, которая устанавливает в качестве исходного пункта производство и связанный с ним труд, естественно, должна была обратиться и к некоторым психологическим категориям. Но, конечно, отсутствие научной психологии во времена Маркса и Энгельса страдалось и на их психологических полужениях. Поэтому мы встречаем в их трудах некоторую неопределенность: ведь в их время объективная психология почти не существовала, а физиологический материализм Молешотта или Бюхнера справедливо вызывал резкое суждение со стороны основоположников марксизма. Примером такой неопределенности терминологии и Маркса и Энгельса является сочетание двоякого рода терминов, обозначающих собой психическую деятельность общественного человека. С одной стороны, эти термины внешнего объективного и материального характера, вроде «производство идей», «идеологическая надстройка», «мозг человека»,

¹⁾ Настоящий очерк представляет собой в несколько дополненном виде отрывок из труда того же автора: «Психология общественного человека и марксизм», который должен в скором времени появиться в свет.

«головы людей» и т. п., а с другой—все же «чувство», «страсти», «сознание», «воля» и т. п. Терминология первого характера дает совершенно определенный внешний процесс и такие же явления, терминология второго характера невольно возвращает нас к некоторым субъективным обозначениям так называемых «внутренних переживаний».

Для марксистов, прошедших более углубленную школу, конечно, в этой терминологии нет ничего смущающего, и когда Маркс или Энгельс прибегают к психологическим определениям, словно заимствованным из психологии «души», то мы прекрасно знаем, что дело здесь идет не о процессе, оторванном от материи, который якобы подчиняется своим собственным законам, но о таких явлениях, которые и определяются целиком материальными условиями производства и воспроизводства жизни и получают значение лишь постольку, поскольку они выражаются в реальнейших фактах общественного поведения, а в частности, в производственной деятельности человека. Особенно замечательным в этой терминологии является употребление обозначений, имеющих материальный характер, прямо отрицающий обычное словоупотребление. Ибо с точки зрения субъективной психологии совершенно немыслимо говорить о «надстройке», т. е. это термин не только материального, но какого-то даже материально-строительного или архитектурного значения. Точно также непонятным на первый взгляд представляется и вместе совершенно необычным употребление слова «производство» по отношению к идеям. Ведь под словом «производство» мы понимаем строго материальную деятельность, направленную к созданию столь же материальных ценностей. Однако, предполагать, что здесь идет дело лишь о некоторой поэтической вольности, не приходится. Слишком часто и притом в научно-теоретическом контексте употребляются подобные обозначения. Невольно, поэтому, мы склоняемся к мысли, что такие материальные обозначения столь, казалось бы, идеальных вещей, как идеи, идеологии и т. п., имеют какой-то более серьезный и существенный смысл.

Мы здесь подходим к одному из важнейших вопросов теории исторического материализма, на котором пока и останемся. Этот вопрос мы можем формулировать, как *проблему материальности идей*. Она особенно важна потому, что в марксизме при желании можно усмотреть какое-то раздвоение и двусмысленность, порождаемую его учением об экономической структуре и идеологических надстройках. Получается как будто два отдельных мира—материальный и идеальный—между которыми лишь отношение находится в обратном направлении, чем это предполагалось идеалистической философией. Ведь там тоже было два отдельных мира—мир материи и духа, при чем, конечно, определяющим и важнейшим являлся дух. Если даже принять положение Маркса, переворачивающее в обратном порядке отношение между духом и материей, при чем решающей становится материя, а подчиненным дух, то все же остается наличность каких-то двух начал, совершенно в смысле дуалистической философии идеализма. Отсюда ведь недалеко и до их параллельного развития, также, как независимости этих самостоятельных сил. Конечно, ничего нет более противного учению исторического материализма, как подобное предположение. Однако, Маркс недаром приводит в послесловии ко второму изданию «Капитала» ссылку на критику его произведений, где ему делались упреки и в «метафизической» точке зрения, и в «идеалистической» форме изложения...

Если мы хотим, однако, проверить, с точки зрения современной науки тот процесс, путем которого переведенное и переработанное в человеческой голове материальное становится идеальным и дает картину производства идей, то для этого нет лучшего способа, как обратиться к данным современной физиологии (учение Павлова) и биологии (Дарвин), чтобы вскрыть тот смысл, который был еще не вполне ясен и самому Марксу в его гениальных догадках. Установим для этого, прежде всего, подлинное учение марксизма. Итак «идеальное есть не что иное, как переведенное и переработанное в человеческой голове материальное». «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независимые отношения,—производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышаются юридическая и политическая надстройки, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». «Представление, воззрения и понятия, словом, сознание людей меняется с изменением их образа жизни, их общественных отношений, их общественного бытия. Что же иное доказывает история идей, как не то, что духовное производство преобразуется вместе с материальным». «Последние причины всех общественных изменений и политических переворотов нужно искать не в сознании людей, не в их прогрессирующем понимании вечной истины и справедливости, а в изменениях в способах производства и обмена; их нужно искать не в философии, а в экономике данной эпохи». «Непоследовательность... старого материализма... заключается не в том, что идеальные движущие силы вообще признаются, а в том, что от них не идут дальше, к их движущим причинам». «Все, что побуждает человека к деятельности, должно пройти через его сознание, но в какие образы это отольется в данном сознании, зависит от обстоятельств»...

Мы бы могли продолжить еще дальше подсобные положения. Мы не делаем этого, т. к. предполагаем их достаточно известными, а приведенных цитат вполне достаточно для того, чтобы напомнить основное учение Маркса и Энгельса об *отношении между бытием и сознанием, материальным и идеальным*, истинными движущими силами, которые коренятся в экономике, и идеальными движущими силами, которые являются лишь отражением первых в мозгу человека, притом, надо отметить, порою в весьма фантастических формах даже разных «небесных» идеологий. Нас здесь интересует психологический подход. Все время идет речь о сознании, идеях, убеждении или страстях, всевозможных мотивах и т. п. С другой же стороны, все эти на первый взгляд субъективные явления именуется надстройками, для сокрушения коих имеется производство. С точки зрения психологии здесь, поэтому, необходим вопрос: что же понимали Маркс и Энгельс под этими психологическими явлениями? Были ли это действительно факты психической деятельности человека, как разумела их старая психология? И не является ли, следовательно, обязательным для марксиста обратиться к методам старой психологии, чтобы выявить эту «идеалистическую» сторону Марксова метода и оттенок «метафизики», в котором его упрекали?

Если статья на такую точку зрения, то получается положение безвыходное. И раз мы желаем уяснить, прежде всего, содержание всех вышеуказанных идей, идеалов, мотивов и пр., которые находятся в человеческом сознании, то, очевидно, нужно обратиться к тем людям, в головах которых проходят эти процессы сознания, и стараться извлечь на основании их субъективного анализа или самонаблюдения и (соответственного) высказывания (интроспекция) то, что они думают по тому или иному поводу, при чем мы наперед знаем, что их мнение о самих себе менее всего отвечает действительности и судить о них по тому, что они сами о себе думают, было бы совершенно наивной ошибкой. Совершенно ясно, что этим путем мы не получим никаких материалов сколько-нибудь серьезного характера. Ибо субъективизм подобных индивидуальных самонаблюдений или интроспекций положительно безграничен. Сведение такого пестрого и хаотически случайного материала к чему-то единому превышает силы самого крупного ученого. Сопоставление определенных материальных явлений экономического характера и личных мнений со всеми их оттенками производно взятой массы голов не может дать никаких определенных выводов. И казалось бы, отсюда законен вывод, который сделан Бухариным, а именно, что, несмотря на весь психологизм марксистского учения, следует отбросить всякую психологию, а заменить ее изучением одних идеологий. Такое положение, как будто, оправдывается тем фактом, что у Маркса и Энгельса, поскольку идет речь о различных явлениях сознания, страсти, мотивации и т. п., все время упоминаются также идеи или идеологии, а иногда даже говорится о «сознании эпохи» или о «юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче говоря, идеологических формах».

Однако, на это необходимо возразить, что самое употребление нашими основоположниками психологических терминов должно иметь определенный смысл уже потому, что они совершенно сознательно пользуются ими наряду с понятием идеологии и отнюдь не смешивают их. У людей, которые так осторожно пользуются терминологией, как Маркс и Энгельс, подобное использование психологических обозначений не может быть каким-то поверхностным и легкомысленным словоупотреблением. И раз они говорят отдельно об идеях и идеологиях и отдельно о страстях, убеждениях, побуждениях и мотивации, то, очевидно, они желают провести некоторое различие между тем и другим. С другой стороны, Маркс и Энгельс, если бы они действительно сводили всю психологию только к идеологии, то в таком случае они бы не делали тех многочисленных психологических характеристик, которыми полны их произведения. Как я писал в другом месте: «Они всегда вводили нас в живую лабораторию классового сознания и показывали, как определенная классовая группа подвергалась влиянию данных производственных условий. Как в ней развивались крайняя бережливость и жадность, доводящая страсть к накоплению до фанатического самоограничения. Как при других условиях росла страсть к наживе и заражала бандитизмом первоначального накопления крупные объединения авантюристов, охотников за неграми и слоновою костью. Как определенная хозяйственная среда приводила к извращению самых естественных инстинктов и превращала родителей в торговцев своими собственными детьми. Как, благодаря изолированности мелких крестьянских хозяйств и косности их производства, создавался сельский «кретинизм». Как профессионалы мысли и

ремесленники духа и идеологов класса вырождались в самодовольных жрецов. Как... развивались психические силы революции и в одном месте освещали бенгальским огнем классическую романтику, а в другом приводили к трусости, колебаниям и пошлейшему компромиссу... Как, прибавим мы к этому, в одном случае рабочие погрязали в распутстве и пьянстве и шли добровольно в кабалу, а в другом становились авангардом революции... Вряд ли кто-нибудь может спорить против того, что здесь мы имеем дело далеко не с одними идеологиями, но с глубоким и тонким психологическим анализом.

И это вполне понятно. *Ибо психология и идеология не только не сливаются в одном понятии, но в реальной жизни дают такие разноречия и сочетания, которые не могут быть объяснены иначе, как лишь при помощи психологического исследования.* Дело в том, что идеология или идея, сохраняя в своем оформленном и устойчивом выражении определенный логический состав и соответствующий ему фактический смысл, может быть на самом деле воспринята совершенно по разному психологически различными группами и следовательно, при одинаковом внешнем выражении, может на самом деле дать фактически разнообразнейшие мотивации, возбудить совершенно различные страсти и совершенно по разному определить поведение. Яркий пример здесь—одно и то же христианство, прикрывающее фактически различные классовые интересы и охватывающее разнообразнейшие виды коллективного поведения, но то же самое можно сказать о всех фетишах современности, начиная с собственности, которая, будучи идеологически одной и той же, в действительности понимается совершенно по разному мелкой буржуазией, крупными капиталистами и аграриями, и кончая государством, этой, по выражению Энгельса, «первой идеологической силой», воспринимаемой в одном и том же идеологическом составе совершенно по разному разными группами. Одна и та же идеология в той же самой группе может вызывать к себе то положительное, то отрицательное отношение, быть мотивом в одном случае острого и массового взрыва, а в другом идейным основанием для примирения и соглашательства.

Сводить поэтому обследование общественных движений, возникающих на экономической основе исключительно к изучению идеологий, это значит—впасть в крупную и пагубную ошибку. Это значит—заменить действительность застывшей и мертвой формой, удовлетвориться сопоставлением экономического базиса и одним логическим отражением общественного процесса в мире практических идей, норм или идеалов, и совершенно игнорировать вечно изменчивую диалектику социальной борьбы, где основную роль играют вызванные экономикой страсть и активность или ею же обусловленные косность и подражание, тупость и острота мысли и характер прирожденного и воспитанного дарования. Конечно, внесение психологии в теорию исторического материализма, как это сделали Маркс и Энгельс, чрезвычайно усложняет задачу. Она требует от социолога-марксиста не только основательного знания экономики, но также истории и психологии. Гераздо легче поступать в духе вульгарного марксизма, который берет с одной стороны полюс экономической структуры или даже рост производительных сил и затем от этого «в конечном счете» определяющего базиса сразу делает громаднейший прыжок к конечному завершению данной надстройки в ее формально выраженных идеях или идеологиях. При этом, конечно, совершенно свободно игнорируется весь грандиозный процесс общественных отношений между двумя полюсами, а при помощи

всяких натяжек и ухищрений получается всякий раз едва ли не прямое и непосредственное отражение «бытия» в идеологическом зеркале. При известной ловкости рук, да еще при наличии наперед данных двух конечных пунктов ничего не стоит при помощи схоластического толкования навязать действительности желательную теорию. Но это—никакой марксизм, и отказ от психологии здесь мстит за себя превращением теории в подлинную идеологическую догму.

Выйти из тушка, который образуется благодаря использованию понятий старой психологии, в марксистском учении возможно только одним путем. И это—*обращение к новой объективной психологии, поскольку она коренится в современной биологии и физиологии*. Как нам думается, здесь возможно и необходимо широкое использование теории рефлексов. Но так как здесь дело идет не об индивидуальной жизни, а о жизни обществ, то будет правильно, если мы в этом аспекте рассмотрим различие между человеком и животным. Только при помощи такого метода мы можем не только формально, но и материально определить психические процессы в связи с реальной обстановкой. Такое сопоставление животного и человеческого общества дает нам, во-первых, понимание условных рефлексов (по обозначению Павлова) с их сигнализацией и отношением этих рефлексов к борьбе за существование, а во-вторых, роль идеологической и вообще сигнализационной надстройки в производственной работе человека и ее психологии. Попробуем наметить такие сходства и различия.

Прежде всего, нужно указать, на *выработку орудий приспособления в животном и человеческом мире*. Как мы знаем из учений биологов, начиная с Ламарка и Дарвина, приспособление к внешней среде в мире биологии происходит, прежде всего, путем приспособления пассивного, т.-е. такого отбора наиболее приспособленных, который путем мутации и наследственности ведет к значительному изменению, а иногда и к полному перерождению данного вида. Живое существо непосредственно из своих роговых оболочек, костяка, мускулатуры и кожного покрова создает необходимые орудия приспособления. Можно даже сказать, что этим путем оно переходит к приспособлению активному, так как «орудия производства», всевозможные хватательные, колющие, режущие, двигательные и иные инструменты вырастают непосредственно на теле и самый организм превращают в механический аппарат борьбы, нападения или даже, в известном смысле, производства. С этой точки зрения, *поскольку человек есть существо, делающее орудия, постольку животное есть существо, выращивающее на самом себе подобные же орудия*.

Но надо отметить, что животный мир отнюдь не лишен и таких технических сооружений, которые весьма близки понятию человеческой экономики. Рыба, сооружающая весьма сложное гнездо, паук, работающий над тканьем своей паутины, муравей, производящий посевы известного грибка для прокорма своих стад сладкой вши, бобр, сооружающий плотины согласно требованиям гидравлики, или птица, сплетающая свое гнездо, все это—технически работающие существа в субъективном смысле, хотя, само собой, мы отнюдь не можем здесь отметить сознательной целесобразности. Сознание здесь целиком заменено инстинктом или наличием целых обширных комплексов, состоящих в свою очередь из взаимно связанных безусловных и отчасти условных рефлексов. Соотношение между безусловными рефлексами и условными может быть

весьма различно, но современные учения различают здесь, с одной стороны, неизменный рефлекторный аппарат, а с другой—столь же инстинктивную способность к подражанию, как образованию новых условных рефлексов на почве индивидуального опыта. Экономически это дела нисколько не меняет, и мы можем здесь без преувеличения говорить о *техническом производстве, основанном на наследственном инстинкте*.

Однако, такой техникой дело в животном мире не ограничивается. И мы имеем здесь не менее интересный технический *аппарат сигнализации*, который строится в целях самозащиты, спаривания, воспитания и связи. Метафорически можно здесь говорить о некоторой аналогии человеческим сооружениям технического характера, которые обнимают собой различные физические и материальные средства, тесно связанные с культурной или идеологической надстройкой. Однако, различие между животным и человеком и здесь проходит по той же линии, которая отмечена выше: в то время как человек творит орудия культурной связи и деятельности вне себя, живое существо создает материальный аппарат сигнализации и символики прежде всего при помощи своего собственного организма. Вместо маскировки и переодевания о. о. меняет цвет своей кожи, шерсти или оперения. Вместо создания сигнальных и музыкальных инструментов, оно вырабатывает на самом себе нужное приспособление, которое дает или свист, или трубный звук, или скрип, трещание и подобные шумы. Оно заменяет парфюмерию деятельностью своих различных желез, которые выделяют то отталкивающие, то, наоборот, притягивающие и привлекающие запахи. Даже театральную мимику мы можем найти у животных и насекомых, когда они пробуют ввести в заблуждение преследователя или необычайно грозным видом или притворной слабостью, или другими формами поведения, имеющими целью обмануть ложной сигнализацией своих врагов. Мы даже знаем ряд технических сооружений, которые в животном царстве служат не в целях добывания пищи, но создаются ради своего рода «культурного общения». Таковы хотя бы украшенные раковинами и камушками особые беседки, где производят свои танцы, прыжки и кувырки некоторые птицы-самцы в целях брачного привлечения самок.

Как очевидно, в животном мире мы находим почти все начатки последующей деятельности общественного человека. Но нужно здесь отметить колоссальное различие, которое лежит между двумя мирами: поскольку живое существо центр тяжести своего приспособления находит в своем собственном организме и лишь весьма незначительно дополняет этот естественный механизм материальными сооружениями, постольку же, наоборот, человеческое общество переносит центр своей производственной работы в создание вне его, человека, лежащих материальных предметов. Техника живого существа лежит в нем самом, техника человека — вне его. Отсюда необходимое следствие. Живое существо целиком стоит на почве наследственного приспособления, а следовательно, лишь в незначительной степени способно к пластическому усвоению как коллективного, так и индивидуального опыта. Человек сохраняет необычайную пластичность, а в своих руках и мозгу создает механизм, способный к бесконечному росту и разнообразию. В отличие от живого существа, как специального инструмента, человек представляет собою универсальный аппарат, получающий возможность гибкого использования всего богатства внешнего мира. Такое положение вещей приводит и к совершенно иной системе использования

безусловных и условных рефлексов. Человек освобождается от необходимости остальных живых существ подчиняться, прежде всего, безусловным раздражителям и *создает обширнейшую систему условной сигнализации, которая, в свою очередь, получает внешнее техническое выражение и оказывается способной не только к передаче из поколения в поколение, но и непрерывной переработке при помощи изобретения.*

В конце концов, мы лишний раз на данном примере убеждаемся в том, что количество переходит в качество, а животная жизнь путем своеобразной диалектики приходит в человеческом обществе к отрицанию основных аппаратов своего приспособления. Человек оказывается действительно таким существом, которое миру природы неорганизованной противопоставляет природу, организованную технически, заменяет инстинкт и естественный отбор развитием своей перво-мозговой системы, а над производством сооружает культурно-идеологическую надстройку, представляющую собой не что иное, как технический механизм организации своих «условных рефлексов». Кстати будет здесь упомянуть о том, что тов. Вухарин в своей «Теории исторического материализма» чрезвычайно близко подошел к излагаемым здесь взглядам и, к сожалению, не развил своих положений, заслуживающих названия подлинного научного открытия. Насколько нам известно, в марксистской теории он первый подошел к конструкции особого производства, направленного к созданию идеологической или, по-нашему, сигнализационно-культурной техники. Его заслугой является характеристика в качестве такого аппарата всевозможных технических средств познания и организации, как-то: книг и произведений искусства, библиотек и музеев, обсерваторий и театров и всех подобных приспособлений, которые, не служа производственной цели, в то же время требуют напряженного труда и утонченной технической работы.

Но не надо забывать, что звуковые сигналы также, как идеограммы, буквенные символы, в равной степени с художественной символикой, также, как весь остальной мир сигнализации общественной жизни, совершенно лишены какого бы то ни было реального значения, если они не являются в то же время раздражителями нашей перво-мозговой системы, а следовательно, не определяют ее в качестве средства внушения и традиции, бессознательной и сознательной мотивировки. Конечно, нам здесь не интересны личные переживания того или другого субъекта, подвергнутого действию таких технически организованных центров раздражения. Но мы никоим образом не можем обойтись без изучения и научного исследования той связи, *которая существует между данными раздражителями и поведением человеческих масс.* Конечно, на первом плане менее всего здесь вопрос о каком-нибудь самоцельном существовании идей и идеологий в качестве социальных раздражителей. Ибо, как ясно из нашего изложения, вся идеологическая и сигнализационно-культурная надстройка теряет всякий смысл вне связи с тем производственным базисом, на котором она построена. Она не только сооружена над ним, но для него, и держится лишь постольку, поскольку основана на его требованиях. Но сфера преломления, данная образованием надстройки, для нас далеко не безразлична.

Ведь, человеческое общество именно тем отличается от животного, что оно реагирует на естественную среду далеко не непосредственно. Между человеком и природой становится производственная техника. Но для того, чтобы органи-

звать свою деятельность, человек сооружает на основе производственной техники еще другую, *культурно-идеологическую, надстройку, которая в свою очередь заключает в себе сложную технику*. И если за исходный пункт здесь взять эксперименты Павлова, то можно сказать, что человек представляет собою в одно время и то опытное животное, которое подвергается экспериментам в деле образования условных рефлексов, и в то же самое время экспериментатора, который с величайшей сознательностью сооружает технический аппарат для организации условного рефлекса. Здесь без изучения видов, форм и способов раздражения в связи с различными формами реакций на эти раздражения обойтись совершенно нельзя. Этим обосновывается и необходимость объективной психологии и, в частности, психологии социальной, так как мы, марксисты, в качестве объекта изучения знаем только социального человека.

И в самом деле, как мы видели выше, культурно-сигнализационная надстройка создается над производственной структурой при помощи необходимой деятельности человеческого общества, как некоторой активной силы. Способ овладения материальным миром, который свойственен обществу человека, необходимо требует создания *системы психических раздражителей над системой производственной техники*. Общество, таким образом, выполняет двойную роль: с одной стороны, оно создает систему психических раздражителей в соответствии производственным условиям, подобно тому, как в лабораториях Павлова создаются условные рефлексы в тесной связи и соотношении к рефлексам безусловным. Во-вторых, однако, то же общество подчиняется им созданной системе раздражителей, выполняет необходимую работу и этим путем реагирует на стявший за раздражителями внешний мир. *Система культурной сигнализации или символизации с этой точки зрения есть не что иное, как в буквальном смысле слова надстройка над производством, через которую общественный человек воздействует на внешний мир*. И совершенно ясно, что различные производственные условия приводят к столь же различной работе нервно-мозговой системы и к столь же разнообразным идеологически и культурным надстройкам, которые обладают соответственной длительностью, силой и формой психических раздражений.

Если бы мы стояли на точке зрения старой психологии, мы должны были бы в данном пункте заняться столь невесомыми вещами, как субъективные мысли, чувства, влечения и воля. Но современная «психология без души» позволяет выбросить нам этот неопределенный и не допускающий научной квалификации материал. Мы имеем перед собой человека, как естественную силу, раскрытую в ее естественном же содержании. Мы имеем материальный процесс производства на известном уровне развития производительных сил. Мы имеем коллективную силу общества, направленную на производство и воспроизводство жизни, а, следовательно, и столь же конкретно поведение общественного человека. Мы имеем, наконец, технический аппарат организации общественных отношений, который несколько не менее производственного отличается материальным характером, хотя и не дает непосредственно никаких материальных ценностей. И этим процессам идет целиком навстречу современная психология, которая устанавливает наличность физиологической наследственности в виде так называемой природной конституции, изучает влияние экономически данной среды на поведение человека и, наконец, устанавливает техни-

ческие приемы и способы, при помощи коих общественный человек организует свое собственное поведение в ответ на влияния внешней среды. Нигде более здесь никакой «души» мы не находим.

Если мы теперь перейдем к различным типичным формам построения социальных раздражителей, то и здесь, само собой, нам не обойтись без социальной психологии или физиологии. Приходится установить тесную связь между функциями общества и его надстройками, служащими той или иной цели. Ибо совершенно ясно, что каждый отдельный вид деятельности вырабатывает и свою систему действительных символов и сигналов. Конечно, в отличие от остальных живых существ, человек не перерождается в отдельный специальный аппарат под влиянием хотя бы разделения труда. В животном мире мы имеем врожденную и наследственную специализацию. Муравьи-воины вырабатывают совершенно другую структуру организма, нежели муравьи-работники, а рабочие пчелы совершенно не могут осуществлять функции матки или царицы. Благодаря перенесению аппарата приспособления во-вне, человек не подлежит такому резкому изменению своей конституции. Однако же, и здесь мы имеем известное изменение. Тут выступает на первый план пластичность человеческого существа, его способность к самым различным видам деятельности при сравнительно небольшом изменении его физиологической структуры. Но зато тем большее различие вносит он в те приспособления, которые организуют его деятельность на почве определенного производственного типа. Можно без преувеличения сказать, что *каждые производственные формы и даже, больше того, отдельные виды деятельности дают различные системы раздражителей, связанных через символику с производственным основанием.*

Практическое использование такой научно поставленной психологии, работающей на строго материалистическом основании, является, конечно, делом самой насущной необходимости. В наших марксистских кругах существует совершенно несправедливое слепое отвращение ко всему, что хоть несколько связано с психологией. Капиталистические общества современности, особенно обладающие высоко развитым производством, относятся к этому делу совершенно иначе. Как показывает пример Американских Соединенных Штатов, там материалистически поставленная психология используется в совершенно неведомых нам размерах. Ее значение оценил, прежде всего, крупный капитал, который при помощи прекраснейших специалистов-психологов дополняет теилсризм такой научной организацией труда, которая безмерно повышает плучаемую им прибавочную стоимость. Во главе своих бюро коммерческой рекламы он поставил высших пробных знатоков дела—профессоров и академикв. В каждой организации, где идет дело о коллективном труде, он имеет присяжного психолога точно так же, как подобные же психологи организуют ему выставки его витрин и распределение товаров. Научная психология распределяет места объявлений на страницах газет, шрифты, формы и рисунки отдельных реклам. Психологи привлекаются к решению вопроса о допущении иностранцев в Америку также, как к проблеме выбора профессий и отбора наиболее способных рабочих сил для того или иного производства. Согласно учениям современной физиологии, беспложиваются рецидивисты нескольких поколений, как прямая угроза капиталистическому порядку. Психологи работают и в армии и в школе. В первой они производят массовую оценку способностей и дарований, точно также, как проектируют наилучшие способы

для массовой дрессуры и тренировки военных автоматов, которые должны отдать свою жизнь за силу и крепость своих классовых врагов...

Особенно велика роль психологов в школе. Воспитание намечается уже с самого раннего возраста, но под контроль психической гигиены берется и самое производство человеческой породы. Вырабатываются методы для рождения таких людей, которые наилучшим образом подошли бы к условиям американской жизни в ее буржуазно-демократической организации. Создается улучшенная американская порода, которая так блестяще оправдывает себя затем не только в предприимчивости, изобретательности и энергии, но также в мещанском тупоумии и зверской жестокости классовой борьбы. Без психолога не обходится ни одно учебное заведение, при чем американцы прекрасно знают, что будущее Америки лежит в ее молодом поколении. Бесчисленные научные психологические институты основательно заняты фабрикацией улучшенного типа будущих Морганов и Рокфеллеров, так же, как обыкновеннейших янки. Психологи работают в эмиграционных бюро и обследуют материал, поступающий из-за границы. Психологи принимают живейшее участие в организации политической борьбы, а, главное, агитации и пропаганды, которые должны загнать голосующее стадо к бесчисленным урнам жульничества и рекламы. Так психологи участвуют в выработке политической машины, и не без их участия создаются и руководятся произведения американской прессы, этого колоссального аппарата массового внушения. Лишнее говорить, что психологи принимают горячее участие не только в криминалистике и тюремоведении, где в их распоряжении находятся многочисленные кадры так называемых преступников, но и дарят свое просвещенное внимание полиции, которую снабжают драгоценными сведениями не только по психологии толпы, особенно же так называемой преступной толпы, но и относительно многочисленных типов поведения опасных элементов, улавливаемых при помощи провокации и других мер, согласно строго научным методам...

В Америке психология стала мощным орудием для закрепления буржуазной идеологии и для борьбы с каким-либо противодействием угнетенных классов. Капиталисты не дремлют. Они прекрасно знают значение надстройки и эту надстройку мастерят с таким же тщанием, с каким возводят свои небоскребы, создают производства подобно фордовским организациям или перебрасывают виадуки через морские заливы. И поскольку дело идет о деле, и в нем замешано великое искусство делания долларов, они сумели отказаться от всяких идеалистических и мистических фантазий. Их психология и психотехника столь же материальны, как материальны рабочие руки и мозг изобретателя и столь же материалистичны, как доллар и биржа. Сам человек, как естественная сила, поступил в обработку пропитанной естествознанием науки о поведении. Они вытравили даже самое слово «психология» из психологии. Они называют эту науку—наукой о поведении—«бихевиор», или «бихевиоризмом»... У нас, за исключением немногих оазисов, как институты труда или научной организации труда, в остальном полная пустыня.

Но если мы не можем обойтись без научной технологии, то точно также мы не можем обойтись и без материалистически построенной психологии. Чем раньше мы за нее возьмемся, тем лучше, и не надо терять здесь ни одной минуты. Мы жестоко можем заплатить за наше невежество и отсутствие психотехнической организации.

М. РЕЙСЕР.

Александр Неверов.

(Литературный портрет.)

Из недр крестьянских масс пришел в литературу типический революционный реалист, погибший в расцвете дарования, создавший целое течение среди передовой литературной крестьянской молодежи («неверовцы»), разносторонне талантливый художник, прозаик, критик, драматург—Александр Неверов.

Многогранность таланта крестьянина—художника-самоучки, творчески подвижного и гибкого, умевшего все грани своего искусства обращать к современности, к лицу жизни—вот наиболее ценные качества Неверова. Нелегок был его путь из деревенской глуши и темноты к вершинам искусства. Этот суровый удел, достойный революционера в искусстве, а именно,—отдать все силы без остатка работе, всегда привлекал творческое внимание и волю художника. Мотив—я хочу жить, а жить, значит,—сгореть, отдаться избранному пути до конца—этот мотив отчетливо звучит и в ранних и в позднейших произведениях А. Неверова. Писатель был верен ему и в серые дни и в эпоху обостренной гражданской войны.

Погребенная в деревенской глуши молодая учительница Катрик мечется в тоске, и сердце выкидывает лозунг:

«Я хочу жить!.. Слышите: хо-очу-у!..»

Жажда жизни и борьба окрасят потом этот лозунг в цвет крови у красноармейца из рассказа «Я хочу жить», а пока надо осмыслить волю к жизни, выкинуть красный флаг над серыми днями.

«Катрик стоит у окна и плачет молча, без слез, с сухими глазами.

— А в городе теперь весело... Там—вечный праздник. И жизнь там—огромная лампа, где сгорают быстро, не чувствуя мук... А гореть надо—все равно»... (подчеркнуто нами. Г. Я.).

Писатель умеет подслушать биение сокровенных пульсов действительности. Для него, как и для ученого, нет мелочей, все достойно внимания и подробного изучения, даже в тине самых безотрадных, тоскливых буден. Копопшится разноцветный клубок человеческих жизней в гуще мелких дел, где трудно отделить черное от белого, все сливается как будто в безнадежную серую массу («Серые дни»). Молодые жизни погибают «от неизвестных причин», в тисках безысходности, когда нет выбора, остается смерть или «последнее средство»—преступление, в тусклом мире обыденщины даже добрым, нужным делом занимаются от безделья. Страшно жить в этой тине, где человеку-хищнику можно дать отпор только с помощью «красного петуха». («Баба-Иван»). Вот в это серое царство

врывается война, кровь просачивается с фронта в слежавшийся быт, раз'едает его; под тяжестью событий и новых обязанностей женщина просыпается к сознательной жизни и первая приходит к мысли, что надо жить «лучше... не так мы живем».

За редкими исключениями в рассказах Неверова всегда есть или намечается просвет, чувствуется перспектива и выход из самых трудных положений. Органический «оптимизм», питаемый волей к жизни, выносливостью и живучестью коренного крестьянина, писателя, творчество которого замешано на деревенских дрожжах, заметно выделяет А. Неверова среди современных прозаиков. Рассказы «Витуль», «Бабыя газета», «В плену», «Черное и белое» проникнуты неверовским настроением, особым сложным чувством, в основе которого лежит положительное восприятие действительности, реальное, здоровое, активное приятие жизни. *Это чувство в той или иной степени питает искусство всех революционных реалистов, оно особенно сильно пульсирует в произведениях Неверова, здесь заложено качество, отличающее школу революционного реализма от всех других литературных течений и направлений.*

А. Неверов—художник с определенным мировоззрением, которое все яснее вырисовывалось с каждым новым его произведением, потому что оно выковывалось в упорной работе, вынашивалось в процессе развития, неуклонного движения вперед большой трудовой жизни. Мировоззрение Неверова, помимо указанных черт, по преимуществу художническое: органическое чувство жизни, приятие действительности, воля к жизни, острота и свежесть чувств,—все это об'единяется в широком, художническом охвате полноты бытия, в любви к самому творческому материалу, подаваемому действительностью! Отсюда плодovitость писателя, его торопливость, художническая ненасытность, почти всегда присущая большим художникам. Разница между неверовским искусством и переплюевской литературой прославленных Серапионов наиболее разительно проявляется в подходе к эротике. В современной художественной прозе нет более благоуханной, здоровой, насыщенной радостными, буйными соками, жизни, книги, нежели сборник рассказов «В садах». От эротики пильняковской, никитинской, ивановской душно и скучно, от нее пахнет кладником и санаторией для хронических онанистов. Не то у Неверова. Любовь в лунных садах губпродкомовских рабочих и работниц такая же органическая, естественная, простая, как этот сад, как жизнь этих яблонь; и в ней есть свои драмы и трудно разрешимые вопросы, как, напр., у Симона Петровича с его поздно проснувшейся страстью к Маринке, но нет развинченности и интеллигентских «надрывов» «Словно ветром-бурей ударяет кровь Симону в омраченную голову. Ловит мысленно Маринку он, слышит запах маринкиного тела тонкими помолодевшими ноздрями, задыхается, стопет, лежит неподвижно». Много юмора, света и тепла в этой лунной сонате о неотразимой Маринке, об опытном сердцеде Мелехе, у которого по любовной части была большая «практика», о безнадежной страсти к Маринке агронома Ивана Кондратьича. Почти сплошной диалог в рассказе, а между тем обаяние лунной ночи, дыхание зрелого лета ощущается в каждой строке. Гейневское соединение печали и радости задает тон всему сборнику. «Полька-мазукка»—поэма о власти любви и городской культуры, «песнь песней» нового крестьянства, классический бедняцкий классовый роман. Идеологию революционного крестьянства Неверов чувствовал очень глубоко, прекрасно разбирался в классовой «му-

зыка» (рассказ «Музыка», «Портфель»). Мастерство художника сказывается в его умении подойти к самым сложным проблемам революции, умении показать творческие силы, заложенные в крестьянстве, повернув вопросы нового быта вокруг хотя бы той же эротической оси, как это сделано в «Польке-мазурке». И знаменательно, что сборник, начатый лунной сонатой любви, заканчивается рассказами о детях («Яшкина скука», «Большевики»), по свежести, силе, проникновенности не уступающими чеховским рассказам.

Искусство А. Неверова, как река в половодье, стремительно мчалось вперед по нескольким руслам; маленький сборник «Радушка»—это прозрачный родник художнического мироощущения, творческий манифест художника. Писатель манифестирует свое приятие жизни, радость бытия в стихотворениях в прозе, подыая этот заносенный и ошаблоненный род литературной формы на былую тургеневскую высоту. «Радость жизни неотделима от любви к творчеству и к женщине. Женщина—это самый прекрасный цветок на земле, в ней «радость рождения, радость страдания»... «вечное стремление творить новую красоту...» «нежная скрипка под нежным смычком, вечно душистое, вечно цветущее слово «женщина»! «Лишь те познают радость жизни и истинную любовь, кто не вносит в нее *чувства собственности*. Незабудка-собственница говорила мотыльку: «я буду любить тебя до тех пор, пока не умрешь. А если ты умрешь раньше, буду любить тебя мертвого». Мотылек испугался такой любви—«и умер от скуки». Целомудренное чувство согревает эту маленькую книгу, горящую в руках комком солнечных лучей, пламенем задушевных мыслей художника.

Яблоки не стыдятся, когда наливаются.

И виноград не стыдится, когда опьяняет.

И самая затаенная, глубоко интимная мысль, питающая строки «Радушки»—это мысль о *дерзании*, разрывающем цепи условностей и предрассудков, потому что без дерзания нет подлинного чувства, нет перестроительства мира: «самое хорошее слово—желание»... «ветер невидимый в нем. Дует ветер—наклоняются деревья: молодые, старые», кто не дерзает, тот остается «воробей-воробьем».

Так исходные творческие лозунги: желание жить, приятие действительности проходят ряд конкретных этапов, постепенно насыщаются кровью, запахами, красками мира и окончательно утверждаются, пройдя испытания революции и чистилище гражданской войны. Утверждая через свое искусство свое мировоззрение, выкованное в трудовых боях, А. Неверов был глубоко идеологическим художником в лучшем смысле этого слова, выношенные им убеждения навсегда входили в его «кровь и плоть» (выражение Плеханова) и художественно оформлялись. Не от себя, не от своего имени, а от имени революционного крестьянства, вобрав в себя его лучшие стремления и мечты о лучшей жизни, громче и выразительнее всех современных писателей заявил Александр Неверов: «я хочу жить». И это действительно основной неверовский мотив, лейт-мотив его жизни и творчества. И звучит он не зоологической жаждой жить во что бы то ни стало, этот мотив говорит о внутренней силе человека труда, сквозь вековой гнет и насилия пронесшего закаленную борьбой волю к жизни и власти. Во время революции рабочие и крестьяне должны были выдержать последнюю прокалику в огне гражданской войны.

«Я иду умирать не от скуки, не от старости и не оттого, что надоела мне жизнь. Я очень хочу жить. Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Нюсью, чтобы жил и радовался весь наш квартал, выгнанный верхними людьми на помойки... И оттого, что я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать все это проще и легче, *любовь моя к жизни ведет меня в бой*». (Подчеркнуто нами. Г. Я.)

Полнота сил, не изжитых в потреблении материальных благ, сил, не изнеженных роскошью, цепкая живучесть, сознание железной необходимости бороться до конца,—*ценность самого процесса борьбы, как наиболее яркого выражения сущности жизни*,—вот что управляет всеми поступками цельного, убежденного, революционного борца из другого рассказа («Красноармеец Терехин»).

«...знал Яков, что человечество, заведенное в тупик, еще не раз принесет огромную жертву, дабы жизнь на земле не была проклятием для замученных нищетой и бесправием».

В мировоззрении Якова самой характерной чертой является утверждение ценности борьбы и весьма жесткое отношение к хозяйственным мечтаниям красноармейца Терехина. Но и у последнего воля к утверждению жизни, после мучительных колебаний и сомнений и гибели Якова, отливается в гранитную форму революционного самосознания.

Стремление к лучшим формам жизни, воля к борьбе рождают в дальнейшем своем развитии новое, более определенное и оформленное, претворение в революционную деятельность, стремление к переустройству человеческих отношений, к борьбе не за свою личную «лучшую» жизнь, а к борьбе за светлое будущее в недрах самой жизни, в глубине самого общественного процесса. Одна из лучших работ А. Неворова, повесть «Андрон Непутевый», художественно воссоздает такую картину революционного творчества в деревне в первые годы революции. Возвратившись с фронта домой, Андрон шаг за шагом вносит серьезные перемены в тяжелый, косный быт крестьянства, производит в крестьянской массе глубокое классовое расслоение, и, в результате, пламя гражданской войны охватывает сдвинутую с мертвой точки деревню. Быт, семья, труд, отдых, действительно, сдвинулись, разломались, и художник, прекрасно знающий деревню, умеет показать этот сдвиг, искусно вскрывая мелко-собственническую психологию, находящуюся под ударами революции.

«Десять лет стояла жизнь на одном месте. Двадцать лет стояла на одном месте. Думали—еще будет стоять пятьдесят, а она повернулась. Куда пошла,—никто сказать не может. И когда повернулась, никто сказать не может: в этот год или в тот. Печи топят, собаки лают, все как было. Поглядишь одним глазом—есть где-то, что-то, только руками не сразу нащупаешь».

Вспыхнувшая война, в которой Андрону, защищая себя, приходится убивать земляков, не смущает убежденного в своей правоте солдата революции. Знает твердо Андрон:

«Итти надо против отца с матерью, против друзей и товарищей. Против всей жизни итти... *Не жалеть нельзя и жалеть нельзя*».

Эта мысль о жалости очень ясна и глубока, звучит по-новому в художественной литературе, сбивающейся очень часто даже у сильных художников в сторону сентиментального, расплывчатого, неопределенного, а главное, *бездейственного*, пассивного «жаления» (М. Горький). А. Неверов ставит вопрос по-новому, правильно, на революционную, накаленную огнем классовых битв, почву разламывающегося крестьянского быта.

Андрон жалеет крестьянство по-революционному: *«война, так война»*.

Здесь другая, после активного приятия жизни, не менее важная черта—революционного реализма,—отделяющая его от романтиков и формалистов, «сочувствующих» революции.

Мечта о лучшей, хорошей жизни, хорошем человеке, традиционная в русской художественной литературе, в порядке культурно-исторической преемственности влилась в творчество А. Неверова, приняв обогащенное революцией содержание и новые формы, освобожденные от беспредметного «жаления» и вздохов «мировой скорби» на тему о «бренности» земного существования. Революционная жадность к жизни, борьба за нее, переустройство, настойчивость, упорство, звериная выносливость героев произведений А. Неверова питаются из подземных истоков, скрытых сил, организационных инстинктов русского крестьянина, подавленных волею исторических судеб, но возвращенных к действительности революцией.

Тяжелое экономическое положение крестьянства, его политическое бесправие при царизме, безземелье, непосильные налоги, безысходная нужда, та почва, на которой произрастали мечты бедняков о «манифесте», дарующем землю, об иной стране, где живут по правде,—мастерски показала в рассказе «Пропавшая страна» (1914 г.). Беднота ощущала ясно, что трудно жить, но не могла добраться до причин своих несчастий. «На всех лежал веками положенный камень. Все старались стряхнуть его, выпрямиться, вздохнуть облегченно». Это стремление приводит в движение исповоротливых, тяжелых на под'еме мужиков, волны ходоков и переселенцев, в поисках свободных земель, катятся в неизвестную даль, разбиваются о пороги канцелярий, о занятые уже земли, часть гибнет в дороге, часть возвращается назад. Последние гроши, остатки сил тратятся в трудном путешествии, но мечта добиться правды не остывает в сердцах бедняков. Сценка на пароходе—беседа мужиков, как это часто бывает у Неверова, полна глубокого символического значения.

«Маленький рябоватый мужик из темноты говорит;

— Все-таки буду добиваться. Где-нибудь найду эту самую правду».

Никто из русских писателей, писавших о крестьянстве, не сумел показать с такой силой, искренностью, убедительностью, как А. Неверов, причины этой неутомимой мужицкой страсти к жизни и правде. Голод, жестокая нужда, каторга существования, в котором «как кирпичи, один за другим складываются дни», присиводили беспощадный отбор наиболее жизнеспособных, живучих.

«Когда был еще маленьким Федька, клали его в борозду, вот на этой земле, нарочно душили пленками, чтобы умер»... Но в груди у Федьки тикало сердце» («На земле»).

Бедняков, выживших эту борьбу за жизнь, голод настигал потом, в зрелом возрасте, а власть в лице волостного старшины и бесчисленных «начальников»

отнимала последние средства к существованию, а за попытку протеста обращала в «преступников». Крепкие силачи, богатырские фигуры, выкованные веками трудовых поколений, сидят в жалкой волостной тюрьме, неспособные организованно бороться за свои кровные интересы, постоять за себя, потому что не могут «отыскать злейшего врага своей жизни» и сознают свое бессилие: «человек хуже мухи. Плюнь в бороду—утрется. Тяпни по спине—почешется».

Если расположить с одной стороны рассказы «На земле», «Преступники», «Отслужившие», «Егорка родился», «Дома», а с другой: «Радость» и «Дети», то с первого взгляда получается преобладание мотивов социального пессимизма над утверждением жизни. Но это изображение темных сторон крестьянского быта приобретает большую ценность благодаря правильному освещению действительности и умелому, художественному показу ее картин. Эти картины ценны своей объективностью, они нарисованы так, что заставляют призадумываться над ними, будят не только чувство, но одновременно и мысль. Кроме того, подходя к мрачным сторонам деревенского быта, Неверов дает почувствовать внутреннюю силу бытия, объективно ценную, только направленную в уродливые русла и бесплодно растрчиваемую в варварских формах существования. Примечателен в этом смысле рассказ «Егорка родился». Целые, здоровые натуры, люди не испорченные, но придавленные тяжелой борьбой за существование, уже с момента рождения ребенка мечтают о смерти посланного «богом» «лишнего рта». Этим, обычным в бедняцком быте, мечтам, переходящим иногда и в детоубийство, А. Неверов противопоставляет утверждение жизни во что бы то ни стало. Замученный нуждой и заботами о семье, учитель Муханцев отгоняет мысли о смерти детей, побеждает все сомнения и приходит к твердому убеждению: «ладно, будем жить. И ребята будут жить. Ни один не должен умереть». Таким же светлым чувством проникнут рассказ «Радость», где настроения однокорпусного солдата, вернувшегося с фронта, его волнения и несложные детские радости подчеркивают бессмысленность войны, истребляющей чистых сердцем детей труда.

Утверждая жизнь, художественно оформляя волю к жизни с помощью разнообразнейших тем, А. Неверов всегда остается реалистом и психологом, ищущим синтеза и равнодействующей параллелограмма сил общественно-трудового процесса. Горькой нужде, нищете с алкоголизмом и преступлением противопоставляя приятие жизни и активное ее утверждение, художник показывает равнодействующую линию, как она проходит через сознание бедняка-крестьянина. Кстати, здесь же А. Неверов дает и оригинальное объяснение психологических основ народного юмора; в рассказе «Кой-о-чем» Герасим отвечает на замечание собеседника, что крестьяне при самых тяжелых условиях не тужат:

«Нам тужить нельзя. Начни тужить—тоска. Туда помотришь—плохо, сюда помотришь—нехорошо. А тоску таскать—что камень на шее. Ну, и шутишь, как будто нет ничего».

И опять воля к жизни трепещет в решительных словах Герасима: «...а все-таки не падаю, держаться хочу... И слез от меня не увидишь...». Так упорно пробивается крестьянская жизнеспособность сквозь невзгоды всяческих испытаний, изумляя самого писателя. Воспевая эту жажду жизни, А. Неверов, пораженный разнообразием ее форм, ее силой и красотой, восклицает: «стран-

ные люди». В беде и несчастьях они не тужат, веселые, что ли, характером? И Герасим отвечает на этот вопрос:

«Будешь веселый. Расстройся попробуй—и хозяйство расстроится.

А без хозяйства нашему брату каюк».

Последние слова вскрывают экономическую основу мелко-собственнической психологии и отчасти объясняют упорство и стойкость крестьянина, который всячески держится и цепляется за свой клочек земли и убогое хозяйство. Крестьянин во власти примитивного хозяйства, оно поглощает все его силы, все мысли и мечты, он по контрасту напоминает портного Ерусланова из рассказа «В глухих местах»: ополченец-портной направляется пешком в тяжелое путешествие на переосвидетельствование и тащит с собой гармонь. Неудобная ноша не смущает его: «не я, она меня тащит», говорит Ерусланов; зная ремесло, веселый Ерусланов чувствует свое превосходство над мужиками, подавленными вечными думами и заботами о хозяйстве; он-посмеивается:

«У кого лошадь, у кого гармонь. По-разному люди живут». Вскрывая глубочайшие пласты крестьянской психологии, обнажая ее экономические пружины, определяющие мировоззрение мужика, художественно об'ективизировал А. Неверов в конкретных типах и характерах, бурных родниках жизни, бьющих из темноты деревенской, национальные черты русского крестьянства. Если живучесть и стойкость крестьянства во время войны еще порой изумляла художника, то с разворачиванием крестьянской стихии в революции он понял мощь и глубину неизжитых сил. А. Неверов, как шикто, прочувствовал и художественно показал национальный характер пролетарской революции, определяемый участием в ней миллионов мужичьих масс, при чем он показал не хаос, не стихию, не звериное лицо крестьянской стихии, о чем так пекутся белоручки «мировой скорби»,—А. Неверов знает мужика в его жестокости и грубости, но еще лучше знает он, что такое здоровые творческие инстинкты, накопленные веками, что такое разум масс.

Рассказы: «По-новому», «Марья-большевичка», повесть «Андрон Непутевый»—это первые художественные достижения писателя в работе над синтезом национального и революционного начала. Дальнейшее творческое развитие А. Неверова в направлении к «Ташкенту» и роману «Гуси-лебеди» было весьма плодотворным и сулило богатые возможности. И на пути писателя к синтезу, в процессе выковывания крепкого художественно-революционного мировоззрения, стихия голода, с невиданной силой ударив по революции и деревне, повидимому, сыграла важную роль в искусстве кровно связанного с крестьянством художника. Ужасы голода заставили А. Неверова чрезвычайно сильно реагировать на страдания крестьянства. С другой стороны, потрясающие картины действительности обострили творческое зрение художника, основные течения его искусства углубились, тяга к синтезу и светлым перспективам достигла высшего напряжения.

Есть основание полагать, что сознание художника было сильно поражено титаническими страданиями родного ему класса,—об этом свидетельствует письмо А. Неверова к т. В. Бахметьеву с призывом к широкой общей работе и крестьянской борьбе с мучительными бедствиями голода. Основное течение в искусстве писателя—здоровый инстинкт жизни и художественное чутье—подсказывает правильный выход из царства голодных кошмаров, не позволяющих долго останавливаться на беспросветных картинах страданий и медленной

смерти. Внимание к судьбе детей сыграло большую роль в самоопределении А. Неверова: их быт и мир формирующегося сознания всегда привлекали писателя. Благодаря любовному отношению к этой теме, А. Неверов обрел в себе внутреннюю силу и достиг художественного синтеза—победы воли к жизни, изображая борьбу детей с голодом.

В редкой книге, сделанной из одного куска, методом живописных контрастов, противопоставлением слабых детских сил стихийному бедствию, достигнут этот синтез. Хозяйственная тоска по организованной, налаженной жизни, всепобеждающая приспособляемость к мучительным невзгодам, мощная, упругая внутренняя сила, страстное стремление к лучшему, к правде, заложенное в натуре наиболее живучих, цепких, органически здоровых представителей крестьянства—все это выступает в сочных красках великолепной живописи повести «Ташкент—город хлебный».

Эта повесть войдет в русскую литературу и историю революции, как ценный документ эпохи, как бессмертный художественный вклад, оправдывающий пророчество Некрасова о русском трудовом народе, который «вынесет все»... Деревенским подростком Мишкой, побеждающим все препятствия в борьбе за хлеб, движет все та же неугасимая, ненасытная жажда жизни, вера в человека. Здоровый, крепко сложенный, внутренне-стойкий, сметливый, он как бы олицетворяет собой пробужденное к самостоятельной исторической жизни крестьянство; немного внимания, человеческого отношения требуется ему для победы над самыми суровыми испытаниями. И каждый раз, когда Мишка встречает хорошее отношение со стороны людей, в его сердце рождается восторженный, благодарный отклик: «Какие хорошие люди!» Сцены бесед Мишки с машинистом поезда полны внутреннего драматизма, силы и выразительности. Облик машиниста и комиссаров на станциях, тепло относящихся к Мишке, изнутри светятся тем же огнем упругой жизненной силы. Мишка и автор повести порой неотделимы друг от друга,—объединяют их общие черты бодрого светлого мировоззрения. Внимание к человеку, именно внимание, а не жалость и жалеение, внимание не ко всякому человеку, а прежде всего к человеку труда, к тому, кто строит жизнь при самых тяжелых условиях, лежит в основе этого мировоззрения. Кто прошел суровую школу труда и борьбы за существование, тот мудро жалеет только тех, кто утверждает жизнь и стремится к лучшему. *Революционный гуманизм* Андрона Непутевого принимает в «Ташкенте» особенно интересные формы, потому что борьба Мишки с голодом протекает на фоне революции, дыхание которой чувствуется в каждом движении разворачивающейся эпопеи. Острые эпопеи о схватке крестьянства с вековечным до сих пор неизбежным врагом—царем-голодом, легко могло бы направиться против революции, но происходит как раз наоборот. Мишка потому и побеждает, что, несмотря на разруху, хаос, плохую работу транспорта, тысячи всяческих неурядиц и нестроений, революция, благодаря тому, что сломала классовые перегородки, открыла выход всему жизнеспособному в рабочем классе и крестьянстве к строительству новой жизни.

К вопросу о жалости А. Неверов возвращается в своем гворчестве не раз. В лучшей его пьесе «Бабы» этот вопрос поставлен и разрешен по-революционному, так же, как его разрешает Андрон. Война раз'ела вековой крестьянский уклад, вскрыла пережитки быта, выявила подневольное существование женщины, варварская домоостроещина стала немощью наиболее сознательным

крестьянкам. Будущая большевичка Домна прекрасно понимает цену пассивной, лицемерной жалости, оставляющей все по-старому. Она говорит:

«Мужики привыкли нас жалеть. Сначала осрамят, изуродуют, потом жалеть начнут».

На вопрос старика Кузьмы, где искать правды, Домна отвечает: «вот где—в кудаче у меня». Она хорошо знает: чтобы добиться чего-нибудь, надо мужиков «тиснуть хорошенько». Григорий в пьесе «Захарова смерть» тоже отвергает родственную любовь и жалость, как одну из удочек старого мира. От стариков «любящих» и «жалеющих» детей, вступивших на революционный путь, ждать нечего: «Будут слезы, будут и проклятья. Одной рукой станут благословлять, другой замахиваться». В борьбе надо последовательно идти до конца: «на стариков смотреть не надо. Мы пойдем своей дорогой. Далеко пойдем, не остановимся. Головой будем стучаться, кричать, а все-таки не остановимся».

Пьесы А. Неверова интересны, как попытки оформить драматически основные моменты в процессе разложения старого крестьянского быта и выявления нового. Не все здесь еще приложено к месту и оправдано. Так, последний акт в «Бабах» производит впечатление некоторой искусственности. Его можно опустить и динамика пьесы не пострадает, т. к. высший момент нарастания действия дан в третьем акте. Пленный австриец Иосиф недостаточно введен в развитие действия, также и появление Домны не всегда оправдано. Пьесы А. Неверова, несмотря на недостатки архитектоники, убедительны тем, что в них выступают представители новой деревни, живые фигуры нового быта. В стремлении к синтетическому выявлению положительных характеров и поступательного движения жизни художник верен себе и в опытах над драматической формой.

Очень ценен этот факт неустанных поисков формы, всегдашнего горения писателя, от торопливых моментальных снимков явлений действительности («Лицо жизни»), стихотворений в прозе и рассказов для детей, переходящих к драме и роману. Незаконченный роман «Гуси-лебеди»—это выдающееся произведение, по достоинству не оцененное критикой, заслуживающее самого серьезного внимания и изучения.

Роман «Гуси-лебеди» охватывает основные моменты классового расслоения и гражданской войны в деревне Самарской губернии в период Октябрьской революции и борьбы с чехо-словаками. Светлые, прозрачные тона, ясные очертания действующих лиц, выдержанность типов, эпическое спокойствие автора, мощное нарастание событий характеризуют роман в целом. Роман разворачивается свободно, широко, захватывая факты и людей, катится неудержимо вперед, как весенняя Волга.

Центральная фигура романа—большевик Федякин, производящий революцию в деревне, типический представитель бедняков. Как создавала жизнь таких убежденных революционеров среди беднейшего крестьянства, как развертывалась накопленная веками ненависть к угнетателям и проявлялась кипучая энергия, все это показано на фактах шаг за шагом с непререкаемой убедительностью. Вся жизнь перед глазами Федякина и его отца—«скакала хорошая жизнь на хороших лошадях». Но никак не мог угнаться Федякин-

отец за мечтой о богатстве, хотя «готов был работать без хлеба, без отдыха, лишь бы только разбогатеть».

Понятно, почему Федякин всю жизнь гонялся за новой избой, как ошалевшая гончая за зайцем:

«Стиснутые кольцом купеческих, казенных и удельных земель, мужики барахтались, как пойманные карася, брошенные в загаженное ведерко».

В этой «дьявольской жизни», от которой «нырнуть и уйти было некуда» было только два утешения: кабак и церковь. И когда вспыхнула война, спокойно ушел Федякин-сын на войну, сознавая свою обреченность. Через два с половиной года стало ясно солдатам, что лгали все, кто призывал к войне, гнал на убой «зачумленных, покорных людей», и с появлением агитаторов-большевиков на фронте «Федякин первый бросил винтовку из разжавшихся рук», понял, кому нужна была война. Из войны Федякин «словно из купели вышел»...

«Не было уже ни жадности, ни корысти, ни желания строить себе пятистенную избу. Одно стремление было—устроить неустроенную жизнь, налить ее светом неумирающей радости, вывести людей на другую дорогу и проклятия на устах заменить улыбкой светлого человеческого счастья».

И замечательно, что с первых же шагов революционной работы в деревне, окруженный враждебным кольцом кулаков, в разгар гражданской войны, Федякин поглощен заботой о культуре и просвещении, ему не дает покоя мысль о театре. На возражения учителя Петунникова что для театра артисты пужны, Федякин убежденно заявляет:

«А мы кто? Мы самые и есть артисты. Всю жизнь хотим перевернуть. Какие же мы большевики, если театра завести не сумеем?»

Естественно, что театр гражданской войны захватывает Федякина целиком и не дает развернуться его планам о переустройстве жизни. Творческая устремленность характерна для убежденного сторонника пролетарской революции. Федякин целен, последователен. Эта черта больше всего поражает колеблющегося интеллигента, учителя Петунникова.

«Станным казалось Петунникову: невзрачный мужик, подпоясанный узеньким ремешком, имеет над ним подчиняющую силу. Станным было и то, что твердые, продуманные мысли высказывает не он, Петунников, кончивший учительскую семинарию, а все этот же невзрачный мужик в солдатской рубахе».

Очень искусно А. Неверов анализирует разнообразные классовые прослойки, вскрытые революцией в деревне. Федякину, его твердости, закаленности противопоставляются сомнения Петунникова, учительницы Марии Кондратьевны, поповской дочери Валерии, с одной стороны, с другой — сомнения Кондрата, здоровым бедняцким классовым инстинктом подозревающего искренность интеллигенции. Участие бедняков в революции ему понятно: «А вот ежели учительша,—ее как раскусить?»—задает он вопрос. Федякин выше всех этих сомнений, хотя и его мечты о возможности мирной работы изживаются

только в борьбе не на жизнь, а на смерть. Вначале он все же думал: «доймут люди его мысли, переделаются, и жизнь, давившая душу, вылезет из скорлупы корыстной жадности, согреется иным теплом, осветится иным светом». Но непримиримая кулацкая жадность и звериная злоба скоро и его делают непримиримым. Над деревенской темнотой и морем кулацкой ненависти, бешенством мелких собственников Федякин стоял, как «мученик древнего мира, готовый пойти на костер».

И в этот момент, когда костер гражданской войны окончательно поглощает Федякина, он уходит в партизанское движение, великая проблема жалости встает в сердце и он разрешает ее так же по-революционному, как и Андрон, Григорий, Домна—герои других произведений А. Неверова. Только глубже вскрыто здесь, как Федякин одно за другим побеждает чувства, разрывающие его сердце на части.

«Жалость тянет назад, ненависть толкает вперед. Два огромных чувства. И оба, как клипом, раскалывают сердце на две неравные половинки...»

Процесс мучительного раскола сознания и борьбы сложных чувств переживают все мужики, но переживают болезненно, смутно, упорно цепляясь за всякую иллюзию, которая сулит им возвращение к старому неподвижному быту. Вот пришли чехи для борьбы с большевиками, а легче от этого не стало: наоборот, жизнь еще более усложнилась и раздраженные, озлобленные мужики чувствуют одно: «куском глиняным развалилась жизнь». «Жизнь, крепко налаженная, с каждым часом разваливалась на мелкие кусочки, а склеить ее не было силы». Мужичья мысль упорно бьется вокруг вопроса: «мирно-то жить неужели нельзя?» И когда убеждаются крестьяне, что нельзя, быстро развивается процесс большевизации деревни. В романе «Гуси-лебеди» А. Неверов детально прощупывает социальные волокна, из которых составляется крестьянская масса, и с необыкновенным знанием мужичьей психологии, проникновением в ее недра показывает, как кристаллизовались бедняцкие элементы и становились большевиками в огне гражданской войны. Особенно интересно прослежена эта «химия» мужичьей психологии на большевизации бедняков Кондратия и Семена. И со стороны композиции здесь применен прием, подобный которому трудно найти в литературе. Кондратий покался, бросил партизанский отряд и вернулся в деревню, чтобы заняться хозяйством, но чехи арестовали его, как большевика. Кондратий бежит из-под ареста обратно к партизанам и по дороге в степи встречает Семена, также бегущего домой, к «мирной жизни». Во-время узнает Семен, что иллюзия эта уже изжита Кондратием на горьком опыте. Наступает момент, когда бедняки осознают ясно: «все мы большевики, нас не узнаешь».

Психология жены Федякина, Матрены, также внимательно и тонко прослежена, глубина классово-пропасти между борющимися вскрыта на очной ставке прапорщика Каюкова и Матрены. Прапорщик чувствует: «ненавидит его баба вековым мраком застывших глаз» и будет он бить ее: «вот за эту ненависть темных неразгаданных глаз». Типы чехов, кулаков, попов, сельской интеллигенции, большевика-псаломщика, женщин-большевичек Маришки и Натальи,—все это конкретные, красочные фигуры, каждое движение которых психологически оправдано, все они изнутри светятся, благодаря художе-

ственной проработке их *психологии*, определенным классовым, идеологическим светом.

Оставаясь все время на высоте мастерства, будучи художником по преимуществу, А. Неверов потому и справился со своей задачей в романе «Гуси-лебеди», при помощи методов революционного реализма он объективно показал, почему и как крестьяне большевизировались, «чешскими пулями настойчиво и упорно били чехов».

Бессмертной заслугой большого художника навсегда останутся мастерские страницы революционно-реалистического искусства, где запечатлен не хаос революции, но ее творческие силы, силы всего лучшего, здорового, цельного, что в рабочем классе и крестьянстве строит новое общество.

А. Неверов—певец нового крестьянства, лучших дум и стремлений революционных бедняков, его искусство—один из лучших примеров осуществления на деле, в данном случае на литературном фронте, великой исторической задачи—смычки пролетариата и крестьянства для строительства общими усилиями коммунистического строя.

ГЕОРГИЙ ЯКУВОВСКИЙ.

Открытие синего угля.

Новое ветросиловое судно Флеттнера „Букау“.

В московских газетах недавно сообщалось о замечательном изобретении германского инженера Флеттнера. Это две отдельно вращающиеся ветросиловые шпильнические башни, установленные на большом парусном судне «Букау» взамен парусов.

При пробном плавании «Букау» оказалось, что новое судно движется со скоростью не меньшей, чем товарный пароход, но при этом расходует топлива гораздо меньше, а именно столько, сколько нужно для двигателя, приводящего легкие металлические цилиндры во вращение. Сила такого двигателя равна 2% той мощности, которую судно получает от ветра при помощи этих башен. Так что, например, когда судно движется при ветре с такой быстротой, как если бы оно двигалось при паровых машинах, имеющих мощность, скажем, в 1.000 л. с., новые ветросиловые башни, передавая такую силу судну, потребуют для своего вращения привод от двигателя только около 20 л. с., т. е. мощность двигателя нужно теперь в 50 раз меньше прежнего. Поэтому открытый Флеттнером способ ветропользования судит, как видно, целый переворот в технике силового хозяйства всего мира.

Итак, ветросиловые башни используют силу ветра гораздо лучше, чем это достигалось до сих пор прежними парусами, а также и другими ветровыми машинами. Это позволило Флеттнеру говорить об открытии «синего угля» (по цвету синего неба). Но идея Флеттнера не нова.

Работа его ветросиловых башен основана на открытом в 1853 г. т. наз. «эффekte Магнуса». Значит, правильно будет сказать, что открытие «синего угля» было сделано еще в 1853 г.¹⁾

Генрих Густав Магнус (род. в Берлине в 1802 г., умер в 1870) в 1852 году, по поручению прусской артиллерийской контрольной комиссии, произвел исследования причин некоторых уклонений пушечного ядра от теоретической линии его полета в воздухе.

Во время указанных исследований Магнус натолкнулся на явление, названное впоследствии Гельмгольцем «эффектом Магнуса».

¹⁾ Полное описание «эффекта Магнуса» и ветросиловых башен Флеттнера, а также и других его изобретений, выходит скоро из печати отдельной книжкой инж. Кажинского в издании ГУКХ НКВД, Москва.

В своем труде под заглавием: «Об отклонениях ядра и о замечательном явлении при вращающемся теле» Магнус пытался научно объяснить причины отклонения вылетевшего из пушки ядра от теоретической линии его полета. Для доказательства этого он применил следующий опыт. Полый цилиндр, установленный на вертикальной оси, будучи в спокойном состоянии, а также во время своего вращения, подвергался действию воздушной струи из вентилятора. Когда цилиндр не вращался, воздушная струя из вентилятора устанавливала два боковых бумажных флажка в положении, параллельном направлению струи воздуха. Когда же цилиндр вращался, то эти флажки уже не оставались в параллельном положении. Один флажок, помещенный на той же стороне цилиндра, где захваченный цилиндром слой воздуха вращался в одинаковом направлении со струей из вентилятора, приближался к цилиндру, а другой флажок (помещенный на другой стороне цилиндра, где захваченный цилиндром слой воздуха отталкивался струей из вентилятора) отклонялся в сторону от цилиндра.

Магнус вывел отсюда заключение, что на обеих сторонах цилиндра образовалось: у одного флажка меньшее, пониженное, давление воздуха, чем когда цилиндр стоял не вращаясь, у другого же флажка—большее, повышенное, давление. Разница в этих двух давлениях оказывалась наибольшей в том месте, где направление струи воздуха из вентилятора шло по касательной плоскости к цилиндру.

Точно также Магнусу принадлежит тот вывод, что скорость вращения цилиндра должна стоять в определенной зависимости от скорости дующего ветра, если хотят достигнуть наибольшей разности давлений. Чрезмерное увеличение одной из этих скоростей вызывает, как следствие, не увеличение, а уменьшение этой разницы. Магнус вывел, что давление или усилие, возникающее в симметричном теле вращающегося цилиндра, помещенного в струе воздуха, направлено попереку этой струи.

Причину возникновения в цилиндре поперечных усилий Магнус приписывал циркуляционному протеканию окружающей цилиндр воздушной среды, захватываемой вращением цилиндра.

Своим вторым опытом Магнус доказал, что разница воздушных давлений по обеим сторонам летящего и вращающегося в полете ядра достаточна велика, чтобы вызвать отклонение этого ядра от теоретической линии его полета. Для доказательства этого Магнус подвесил вращающийся полый цилиндр на рычаге, прикрепленном к могущему повернуться вокруг своей вертикальной оси станку. Против этого же станка установлен был и вентилятор.

Когда полый цилиндр не вращался, то хотя вентилятор и выдувал на него струю ветра, но все окружающее оставалось в покое. Однако, стоило только привести во вращение цилиндр, как тотчас же цилиндр со станком приходил в движение, и, именно, станок отклонялся в ту сторону цилиндра, на которой направление вращения воздушного слоя вокруг цилиндра совпадало с направлением воздушной струи из вентилятора. Конечно, движение рычага со станком менялось тотчас же в другую сторону, как только цилиндр получал обратное вращение.

Таким образом, Магнус еще в 1853 г. доказал, что в цилиндре возникают при таких условиях поперечные усилия значительной величины. Но такое воззрение на соотношения давлений на стенках вращающегося цилиндра, которое

мы встречаем у Магнуса, не является удовлетворяющим во всех отношениях, так как оно ничего не говорит про то, какое количество энергии отдается ветром, и как протекает за цилиндром та часть ветровых течений, которую цилиндр своим прохождением нарушил, так как эта часть ветрового потока, отдавая свою энергию, должна была потерять всю скорость.

Поэтому изложенное выше объяснение необходимо понимать пока только, как предварительное, в ожидании результатов ведущейся ныне над «эффектом Магнуса» научной экспериментальной работы.

Из беседы с Флеттнером выяснилось, что он не склонен считать причиной «эффекта Магнуса» циркуляционное действие более или менее толстого слоя воздуха, окружающего цилиндр, а скорее присоединяется к теории Праудтля о трениях и вихрях в так наз. мертвом прослойке.

Профессор Праудтль в Готтингене уже 20 лет тому назад обосновал теорию о том, что действие трения жидкости (а воздух в физическом смысле течений есть также жидкость) ограничивается на сравнительно тонком слое вблизи от обтекаемого тела. Поверхность этого слоя он и называет пограничным, или так наз. инертным или мертвым прослойком, задерживающим, согласно «потенциальной теории», образование так наз. «идеальных течений».

Эти понятия принадлежат скорее к физико-математическим способам зрения, которые имеют своей предпосылкой идеальное явление течений, лишённое, быть может, своих действительных особенностей, с целью вообще охватить теоретическими расчетами соответствующие этим явлениям процессы, поэтому на них мы подробнее останавливаться не будем¹⁾.

Флеттнер приспособил судно «Букау»—бывший трехмачтовый 778-тонный бриг, оборудовав его двумя башнями высотой 15,6 метр. и диаметром 2,8 м. (см. рис. 1). На башнях сверху имеются шайбы, в полтора раза больше диаметром, чем башни. Этим шайбам башни обязаны значительной долей успешного действия нового ветросилового судна, так как благодаря шайбам наружный воздух не проникает в полосу высокого отрицательного давления.

На судне «Букау» новое оборудование машин с башнями весило 7 тонн (427 пуд.), при чем одни башни весили 2 тонны, старое же парусное оборудование (такелаж) весило ранее 35 тонн (2.135 пуд.).

Самое благоприятное соотношение между скоростью ветра и окружной скоростью башни оказалось равным от 3 до 4, т.-е., при скорости ветра 7 метр. в сек. башни должны вращаться с окружной скоростью 24,5 м./сек. (около 120 оборотов в минуту). При более сильном ветре, если число оборотов башни останется то же самое, это соотношение будет менее благоприятным в смысле полезного эффекта. При ветре со скоростью 24 м./сек. оно будет равно 1:1. Замечательно, что при более сильном ветре башни не представляют уже того опасного сопротивления буре, какое имело место на паруснике даже при собранных парусах. Внутри каждой башни, у пяты оси цилиндра, помещен электромотор максимальной мощности, каждый по 11 квт.

Оба электромотора питаются током от небольшой установки с дизельным двигателем в 45 л. с. Для привода обеих башен в нормальной работе требуется

¹⁾ Интересующихся подробностями рассмотрения «эффекта Магнуса», а также историей других изобретений Флеттнера, отсылаем к нашей книге (см. сноску ранее). Автор.

около 20 л. с., а извлечь из ветра они могут энергию в 1.000 л. с. Новое судно имеет ряд других преимуществ перед парусником. Например, следует отметить большую и легкую поворотливость судна, достигаемую придаванием различного направления вращению башен как во время полного хода, так и при стоянке судна. Судно работает уже при направлении ветра в 23° к курсу судна, что невозможно при паруснике той же величины.

Большие экономические преимущества ветросилового судна «Букау» мы отмечаем попутно.

Новое ветросиловое судно Флеттнера при среднем ветре имеет скорость товарного парохода, но оно экономически гораздо выгоднее последнего, так как расходует значительно меньше топлива (около 10% прежнего количества). Кроме того важно, что судно во время хода может обслуживаться одним человеком у руля, одним у дизеля. Все это означает возможность снижения стоимости фрахта и пассажирских перевозок, примерно, до 30% теперешних цен. При плавании, например, из Гамбурга в порты Азии, по известным маршрутам, около 90% всего времени в дороге можно будет пользоваться башнями Флеттнера. Благодаря этому экономия в топливе для большого океанского судна будет достигать внушительной цифры до 1.000.000 зол. марок за один такой рейс.

Общество Гамбург—Америка—линия предполагает немедленное введение башен Флеттнера на своих судах.

Недавно основанный Флеттнером концерн из различных больших германских обществ с участием иностранного капитала имеет свое правление в Берлине.

С концерном Флеттнера ведутся переговоры обществами «Цеппелин»—в Берлине, «Гуд Ир Компания»—в Нью-Йорке, об использовании ветросиловых башен для цеппелинов (воздушных кораблей).

По мнению Флеттнера, воздушные корабли при использовании его изобретения будут значительно устойчивее и экономически гораздо выгоднее. Принятая теперь, дорогая в изготовлении, продолговатая форма цеппелина может быть изменена на более дешевую и прочную овальную форму.

Большие экономические выгоды в этом деле для ослабленной войной Германии налицо. Можно поверить тому, что большая нужда, действительно, вызывает к жизни и большие возможности покрыть ее (Энгельс).

Но здесь сказывается еще интересная подробность—это известная последовательность творческого использования научных достижений для практических выводов, революционно действующих в столь сильно отсталой, но тем не менее важнейшей и огромнейшей области народного энергетического хозяйства, каковым является ветровое хозяйство. Эти достижения возбуждают наилучшие надежды на скорейшее оздоровление и восстановление этого хозяйства и у нас в СССР.

Обоснованное на открытии Магнуса, насчитывающем уже свыше семидесяти лет, изобретение Флеттнера являет собою прекрасный пример последовательности такого умственного творчества.

И то, что изобретению Флеттнера предшествовало открытие Магнуса, конечно, нисколько не уменьшает величия творческой работы второго, так как ни один изобретатель до сих пор не витал, что называется, в безвоздушном пространстве, а, наоборот, все они всегда стояли на плечах какого-нибудь другого изобретения или открытия. В данном примере Флеттнер первый сделал

полезное применение из явления, которое до сих пор не удавалось приложить к практическому использованию. В этом заключается его неоспоримая великая заслуга перед человечеством.

В январе 1925 г. судно «Букау» совершает большое пробное плавание в Данию и в главнейшие порты Скандинавии.

В течение 1925 года предполагается большое океанское плавание «Букау» в порты Азии, Индию, Китай и Японию.

Тем временем судно выполнит ряд опытных плаваний и будет служить образцом для новых и для перестройки старых больших океанских пароходов в ветромоторные суда. В продолжение 1925 года, примерно, уже около 20 больших пароходов немецкое судоходство предполагает перестроить на ветромоторный способ.

Большие судостроительные компании предполагают пустить в обращение вновь переделанные океанские б. пароходы немедленно после устройства на них роторов Флеттнера.

Немецкие газеты отмечают небывалый интерес со стороны других стран к изобретению Флеттнера. В особенности много заявок поступило со стороны больших судостроительных фирм и концернов Англии, Италии и стран Скандинавии, предполагающих также ввести немедленную перестройку своих океанских пароходов. Флеттнер предпринимает вскоре поездку во Францию, Англию и Скандинавские страны для ознакомления иностранных судостроителей с его новым изобретением с тем, чтобы можно было там образовать новые общества для сооружения и эксплуатации ветросиловых судов.

Из СССР также поступают к Флеттнеру запросы, свидетельствующие о том громадном интересе, который проявляют советские деятели и техники к его новым изобретениям.

Народный Комиссариат Земледелия, например, пишет в своем письме Флеттнеру следующее: «Ветровое хозяйство СССР находится сейчас в условиях, особенно благоприятствующих развитию и росту применения усовершенствованных ветряных двигателей с высоким коэффициентом полезного действия. Рациональным формам использования энергии ветра, например, для сельской электрификации необ'ятных ветровых районов СССР, Народный Комиссариат Земледелия придает чрезвычайно важное значение, поэтому с особенным интересом ожидает от вас соответствующих сообщений, касающихся ваших проектов устройства ветроэлектрических станций больших и малых мощностей».

Ко времени выхода этой статьи в свет у нас в Москве не получено, к сожалению, никаких точных подробностей о системе ветродвигателя Флеттнера для электростанций.

Весною в окрестностях Берлина Флеттнер предполагает построить первый пробный ветродвигатель на башне высотой 100 метров. Мощность этого нового ветродвигателя Флеттнера предполагается свыше 1.000 л. с.

В ожидании более точных сведений о Флеттнеровском ветродвигателе мы можем коснуться тех выгод, которых, как говорит Флеттнер, следует ожидать от его ветроэлектрических станций.

По мнению Флеттнера, новый ветродвигатель сможет использовать силу ветра так, как этого еще не достигал ни один ветродвигатель всякой другой системы. По его расчетам оказывается, что можно будет, благодаря этому,

достигнуть уменьшения существующих тарифов за электрическую энергию на 60—70%.

Флеттнер полагает далее, что электрические станции с его ветродвигателями малых мощностей до 10 квт. будут весьма пригодны, как силовые установки, для нужд сельского хозяйства. Поэтому он разрабатывает проекты таких деревянных установок (с ветродвигателем диаметром 8—9 метров), которые пригодны будут уже для массового изготовления, как типовые, легко транспортабельные стандартные установки.

Кроме СССР интерес к этим достижениям Флеттнера проявила также Швейцария, а в особенности государства южной Америки, и др.

На первое время, конечно, новый ветродвигатель, если он будет обладать действительно очень высоким коэффициентом полезного действия, будет применяться преимущественно, как дополнение (supplement) к существующим двигателям в заводских и фабричных установках. Это следует уже по одному тому, что повсеместное внедрение нового ветродвигателя произойдет в течение довольно большого промежутка времени. Тем не менее, Флеттнер рассматривает свои ветроэлектрические станции, как силовые установки будущего, полагая, что рано или поздно все энергетическое хозяйство мира в своей основе будет строиться на использовании даровой силы ветра, тогда как нефть, уголь и даже вода, которые сегодня еще имеют первостепенное значение, в будущем станут выполнять свое назначение уже только, как дополнительный, вспомогательный силовой резерв. Его вера идет еще дальше: он полагает, что теперешние районные электроцентраль, с их дорогой сетью проводов дальней передачи, будут побеждены грядущими небольшими ветроэлектрическими станциями, так как сила ветра может быть использована на любой точке земного шара и почти везде тут же, у того места, где требуется энергия.

Таким образом, выходит, что новые достижения в ветроэлектрической проблеме дадут возможность смягчить жестокую мировую борьбу за запасы горючего. Шахтер будет, наконец, извлечен из глубоких недр земли, где его ежедневно окружает тьма и опасения потерять если не жизнь, то здоровье.

И действительно, если рассматривать этот вопрос во всей его широте, мы увидим, что мировое количество энергии всех запасов ископаемых углей равнозначно 44.000.000 миллиардов калорий, тогда как энергия ветра, взятая только за один год, и только та, что доступна к использованию, равна 33.000.000 миллиардов калорий, т.-е. $\frac{3}{4}$ мирового запаса угля.

Энергия потребляемого за год количества угля (7.200 бил. калорий) почти в 5.000 раз могла бы быть покрыта годовым запасом ветровой энергии. Полезная годовая энергия водных источников почти вдвое меньше по своему количеству (4.000 бил. калорий), чем годовое использование энергии угля. Таким образом, годовое количество энергии ветра почти в 10.000 раз больше годового количества полезной энергии водяных источников.

Необъятные пространства ветровых районов великого Союза Советских Социалистических Республик, занимающего по своему протяжению $\frac{1}{6}$ часть суши, представляют из себя наибольшее в мире поле приложения усилий свободно гуляющего по этим просторам ветра. Но именно у нас, в СССР, наименее полно используется эта энергия, поэтому надлежит приветствовать точку зрения Наркомзема, проектирующего ряд мероприятий, направленных к улучшению положения ветрового хозяйства. Отсюда попятно, почему рациональным

формам ветропользования у нас, в СССР, придается чрезвычайно большое значение.

В своих первоначальных работах¹⁾ мы вкратце уже разбирали практические возможности ветропользования для с.-х. электрификации и к стати отмечаем здесь недостаток соответствующей литературы.

Казалось бы, что распространенность крестьянских ветряков в ветровых районах России должна была давно указывать на ветер, как на источник той даровой двигательной силы, которая, наряду с гидравлической, должна быть использована в первую очередь и для целей местной электрификации сельского хозяйства.

Между тем, нельзя насчитать пока и одного десятка ветроэлектрических станций, построенных до сих пор на территории СССР, да и существующие (в Москве, Курске, Ростове н/Д., Омске, Владивостоке и др.) не имеют промышленного значения, а являются скорее лабораторным опытом.

Тем не менее, тот факт, что правительство СССР уделяет значительное внимание и средства на постройку ветросиловой лаборатории в Москве при ЦАГИ (центральном аэро-гидродинамическом институте) и на постройку 1-ой опытной ветроэлектрической станции в Курске (системы Уфимцева), говорит в пользу того, что вопрос об использовании даровой энергии ветра для получения электричества считается достаточно назревшим, и мы находимся накануне ряда практических мероприятий в этом отношении.

Вобщем, вполне справедливо было бы назвать все русское ветровое хозяйство истинно народным потому, что нынешний крестьянский ветряк настолько прост и доступен по своей конструкции, что его легко строят сами крестьяне кустарным способом.

Энергия от несовершенного крестьянского ветряка все же раза в 2 дешевле энергии тепловых двигателей.

По некоторым данным, число ветряных мельниц в России в 1906 г. составляло около 900.000 шт. За последние годы это число упало до 200.000 шт., общей мощностью 1.000.000 лощ. сил. Тем не менее, наличными ветряными мельницами в СССР можно было бы перемолоть на месте же весь годовой урожай хлеба.

Повидимому, ветросиловое хозяйство СССР находится в положении, наиболее благоприятном для своего развития, поэтому можно рассчитывать, что новейшие ветровые двигатели, при условии наибольшей простоты, дешевизны и высокого полезного действия, найдут себе применение у нас всюду.

Очень характерный пример этому представляет постройка на бакинских промыслах усовершенствованных ветродвигателей системы ЦАГИ, так как оказывается, что добыча нефти помощью тепловых двигателей, даже с таким дешевым для этих промыслов топливом, как своя нефть, обходится дороже, чем добыча той же нефти при помощи ветродвигателей.

Против условий капиталистических стран СССР представляет особенно выгодные преимущества в смысле большей успешности распространения малых

¹⁾ Б. Б. Кажинский. «Практические пути к использованию силы ветра для с.-х. электрификации». Жур. № 3 «Электрификация». Его же: «Ветроэлектрические станции». Жур. № 11 «Электрификация». Издание РИО Главэлектро, 1923 г. Москва.

и больших ветроэлектрических станций, потому что за границей угольные и нефтяные короли, а вместе с ними и их правительства, постараются основательно помешать конкуренции вновь возникающего энергетического фактора, каковым являются будущие рациональные ветроэлектрические станции. Подкупленная ими пресса уже геперь начинает кампанию борьбы за интересы своих хозяев, давая ложные, иногда даже «научно» обоснованные, информации об истинных успехах новых изобретений Флеттнера. Этим путем, обычным для подобных приемов, черный уголь вступает за границей в борьбу с «синим углем»—с силой ветра.

У нас, в СССР, этого, конечно, быть не может.

ИНЖ. Б. КАЖИНСКИЙ.

Что сделано в СССР за последние годы по изучению радия?

Радий, этот своеобразный элемент, первое сообщение о котором было сделано супругами Кюри Парижской Академии Наук 26 декабря 1898 года, принадлежит к числу весьма немногих химических элементов, сделавшихся предметом промышленной добычи почти тотчас же после своего открытия. Чем же это объясняется? С одной стороны, необычайностью его свойств, сразу привлечших к себе внимание всего человечества, а с другой—тем обстоятельством, что он встречается в природе в состоянии крайнего рассеяния, и для получения одного грамма его требуется переработать в наимыгоднейшем случае около 200 пудов руды, что, конечно, может быть произведено только на заводе. Таким образом, промышленная добыча радия является необходимым условием для более близкого изучения его свойств, без которого нельзя рассчитывать найти наиболее правильные формы и области его применения. Между тем, свойства радия весьма замечательны. Они позволили исследователям впервые получить некоторое представление о внутреннем строении материи и в значительной степени изменили многие старые, установившиеся в физике и химии, представления. В случае радия мы впервые столкнулись с элементом способным, как казалось сначала, непрерывно выделять, вопреки основным физическим законам, огромные количества энергии, проявляющейся в своеобразных излучениях, присущих этому элементу. Дальнейшее изучение этого элемента показало, однако, что сам он не остается неизменным, а выделение энергии происходит за счет его разрушения, причем он превращается постепенно в другой химический элемент—газообразную эманацию радия, в свою очередь являющуюся телом неустойчивым, претерпевающим дальнейшее изменение. Таким образом, радий явил нам впервые живое воплощение заветной мечты алхимиков—превращения одного элемента в другой. Правда, это превращение в случае радия протекало без всякого участия человека и даже совершенно независимо от его воли. До настоящего времени мы не нашли еще способа, хотя бы в самой незначительной степени, повлиять на ход распада радия: этот процесс протекает с некоторой постоянной, независимой от нашей воли, скоростью и характеризуется тем, что в единицу времени всегда распадается одна и та же часть находящегося в наличии радия. Что этот процесс совершенно отличен от обычных химических реакций, показывает как количество выделяющейся при этом энергии, во много раз превосходящее энергию, освобождающуюся при наиболее мощных химических реакциях, например, полном горении угля или соединении водорода с кислородом, так и то обстоятельство, что ни изменение давления до нескольких десятков тысяч атмосфер ни изменение температуры в несколько тысяч градусов, оказывающее столь резкое влияние на течение и даже направление химических реакций, в данном случае не оказывают никакого действия. Чтобы дать некоторое представление о коли-

честве энергии, самопроизвольно выделяющейся при распаде радия, заметим, что если бы человек мог по своему усмотрению использовать всю энергию, которая освобождается при превращении только одного грамма радия в конечный продукт его распада—свинец, то он смог бы за ее счет поднять 61.000.000 пудов груза на высоту одного метра, или, превратив эту энергию в тепло, мог бы за ее счет заставить пройти паровоз из Ленинграда в Москву. Совершенно очевидно, что тот народ или человек, который сумеет обуздать неожиданно открывшиеся человечеству новые запасы энергии и направить их по своему усмотрению, окажется обладателем мощного оружия, ставящего его в совершенно исключительное положение. С этой точки зрения становится совершенно понятным, что все государства стали уделять изучению радия и явлений радиоактивности исключительное внимание. Одним из первых применений, которое нашла себе выделяющаяся при радиоактивных превращениях энергия, явилось использование радиоактивных излучений для борьбы с некоторыми страшными болезнями, как, например, раком, волчанкой, многими наклонными болезнями и рядом других.

Россия до самого последнего времени стояла совершенно в стороне от завоеваний науки в области учения о радиоактивности. Это не значило, конечно, что развитие этой новой и чрезвычайно многообещающей отрасли знания не привлекло к себе совершенно внимания русской научной мысли. Интерес к радю и радиоактивности начал пробуждаться у отдельных исследователей тотчас же после открытия радия. Однако, широкого развития эти исследования не получили вследствие очень неблагоприятных условий работы: отсутствия самого радия, отсутствия необходимых установок и денежных средств для правильной постановки работ. Исключение составляли исследования над распространением радиоактивных минералов в пределах России, которые получили относительно широкое развитие и планомерную организацию благодаря тому, что они по инициативе акад. В. И. Вернадского были сосредоточены с 1909 г. при Российской Академии Наук. Лишь в 1918 году по инициативе ВСНХ вопрос о радии был поставлен в России во всю широту, и дело организации опытного завода для добычи радия, долженствовавшего положить основание самостоятельной русской радиевой промышленности, было поручено Академии Наук. К 1922 году были закончены все подготовительные работы, получены первые русские препараты радия автором настоящей статьи, и приступлено к оборудованию постоянного завода для добычи радия. В том же году было основано и единственное в СССР высшее научное учреждение, занимающееся разработкой вопросов, связанных с радием и радиоактивностью—государственный радиевый институт при Российской Академии Наук. В настоящее время для дальнейшего успешного развития радиевого дела в СССР мы имеем налицо все необходимые элементы: налаженную добывающую и обрабатывающую радиевую промышленность—гос. Тюя-Муонский радиевый рудник и гос. радиевый завод, входящие в состав Бондюжских химических заводов ВСНХ—и специальное высшее научное учреждение, разрабатывающее теоретические вопросы, связанные с радиоактивностью, и вопросы наиболее целесообразного и полного использования радия и его энергии. Несмотря на весьма непродолжительное время своего существования, гос. радиевому институту удалось достигнуть уже весьма значительных результатов как в том, так и в другом направлении.

В первую очередь, естественно, были выдвинуты и подвергнуты разработке вопросы, непосредственно связанные с делом правильной постановки добычи радия и его учета, и в этом направлении сотрудниками института были разработаны новые оригинальные методы получения радия, и разработаны новые методы и сконструированы новые приборы, позволяющие вести с наименьшей затратой времени самый подробный контроль за распределением радия во всех стадиях обработки руды, равно как определять его содержание в исходной руде и конечных про-

дуктах. Вновь сконструированные приборы значительно превосходят ранее употреблявшиеся по своей чувствительности, а вновь выработанные методы выделения радия позволили сильно ускорить процесс его добычи из руды. Далее, в институте налажено дело систематического получения высокопроцентных препаратов радия, пригодных как для научного, так и для практического медицинского применения, из систематически доставляемого с госуд. радиевого завода обогащенного полуфабриката. В настоящее время, кроме того, установлена и испытана оригинальной конструкции большая установка для систематической откачки из раствора, содержащего соли радия, первого продукта его распада— радиоактивной эманации— в целях ее использования для медицинских целей. Эта установка позволит в ближайшем будущем приступить к снабжению заинтересованных медицинских учреждений эманацией радия, которая при соответственно поставленной правильной дозировке отпускаемых препаратов, тоже уже налаженной, позволит заменить недостающие сейчас у медицинских учреждений препараты радия.

К числу таких же крупных начинаний в области смежной с радиоактивностью, а именно по вопросу об изучении так называемых инертных или благородных газов, в Институте в настоящее время, по соглашению с газовым отделом КЕПС'а, начато систематическое изучение природных газов РСФСР с точки зрения присутствия в них гелия, результаты которого представляют большой интерес для военного ведомства, так как гелий приобретает в настоящее время большое значение в воздухоплавании для наполнения воздушных шаров, цеппелинов и т. п. И в этом направлении достигнуты уже значительные успехи, выработаны новые установки для определения гелия, представляющие по своей простоте и скорости работы с ними большие преимущества перед ранее употреблявшимися.

Наряду с этими, имеющими непосредственное практическое значение, достижениями, в гос. радиевом институте поставлен в настоящее время ряд научных работ по физике и химии радиоэлементов, равно как и систематическое изучение распространения радиоактивных минералов и руд в Ферганской области и условий их залегания. В числе ведущихся работ имеются такие, которые затрагивают наиболее животрепещущие в настоящий момент вопросы, как, например, вопрос о строении ядра атомов радиоэлементов, вопрос об использовании радиоэлементов в качестве показателей или индикаторов для решения некоторых спорных вопросов физической химии, и ряд других.

В. ХЛОПИН.

По Советской земле.

Приволжский край.

I. Под Костромой.

Каменный век, электрификация и патока.

Целой компанией отправляемся к устью реки Костромы обследовать становище доисторических насельников края—мерян. Тут археолог В. И. Смирнов с своими детьми, прочая приставшая к нам молодежь и два деревенских парня, только-что кончивших школу II ступени и приехавших из дальних мест в город, чтобы получить совет, в какие вузы столиц подавать прошения: им до смерти хочется получить высшее образование и поработать на пользу родного края. Оба они занимаются этнографией, собирают песни, заговоры; один из них с экскурсией буйской школы обошел в прошлом году целый уезд, зарисовывая орнаменты наличников и типичные постройки. Вообще, надо сказать, что среди современной крестьянской молодежи,—я встречался со многими,—необычайно развита тенденция краеведчества, и костромской музей немало имеет из их рядов настоящих дельных корреспондентов: присылают нефритовые топоры, стрелы с точным описанием, где и при каких условиях найдены, иные заняты геологическими работами в своих окрестных деревнях, другие с головой ушли в фольклор. Например, буйская школа в течение прошлого лета собрала исчерпывающий материал по свадебному обряду, учитель гармонизировал песни, а зимой «русская свадьба» во всей своей натуральности много раз ставилась школой. Из разговоров с молодежью, стремящейся пройти высшую школу, я вывел заключение, что большинство из них создало нищую беспросветную тьму забытой деревни и твердо желает, не прельщаясь городской карьерой, вернуться к своим полям и убогим хатам, чтобы претворять звериный быт в уклад относительной культуры.

— Надо работать,—говорят они,—потому что мужичья Русь очень бедна интеллигенцией.

Такое ревнивое отношение к деревне пришло не с ветру: это отчасти внушается и учителями, и вернувшимися из плена солдатами, и более или менее развитыми красноармейцами, а отчасти местной интеллигенцией, книгами, газетами, но главным образом—благодаря общему сдвигу всей нашей болотной жизни, духовному вихрю внутренней революции, охватившей сердца и головы мужиков. Деревня кряхтит, ругает порядки, пьянствует, бьется ножами и кольями, но деревня далеко не та, что прежде. Человек почувствовал, что он человек, и это главное.

* * *

На песчаной, намытой гриве—деревня.

— Это озерко, возле которого мы стоим,—говорит археолог,—называется «Мерь». Тут жили когда-то меряне. Когда же пришли и осели здесь славянские племена, они в противовес этому озеру назвали вон то озеро—«Святым».

Несколько лопат врезались в песок и начали ковырять.

— Стойте, не так!—закричал археолог.—Надо культурный слой отыскать. Вот культурный слой. Видите, темные напластования в песке с кусочками углей. Тут, очевидно, была стоянка. Ройте потихонечку, слой за слоем.

И, обращаясь ко мне:

— Вот вы идете по губернии. Хотите, в нескольких словах, знать кое-что из этнологии края? От устья Костромы до с. Мисскова, куда вы собираетесь, вверх по р. Костроме, был так называемый «Мерьский стан». Этих станов рассеяно по губернии много. Кто была загадочная «меря»—мнения ученых расходятся. Мерь—это остатки угров (венгров). Прародина их—Тобольская, Пермская и Вятская губернии. Отсюда, теснимые тюрками, они перекочевали на запад. Часть их осела в Костромской губ., потом перешли р. Этыл (Волгу), «нигде не нашли ни селений, ни сельских дорог и не питались изготовленными людьми кушаньями,—пишет венгерский летописец,—но наедались мясом и рыбами, покада пришли в Суздаль. Оттуда направились в Киев (888г.), потом, через Карпаты, в Паннонию». Далее, в IX веке, норманн проложили торговый путь от Ладоги по Волге в Булгары. За ними потянулись в Приволжье славяне. Вероятно, славянские селения частично встречались и в более раннее время. Такие названия в крае, как Судиславль, Горесловка, Гридины, Китоврасово, Шеломец, Здемирово—дышат глубокой стариной. В седые времена приходили сюда и новгородцы, сначала в качестве ушкуйников, а позднее с торговыми целями. Марфа Посадница в одной из своих дарственных пишет: «Се яз (sic!) Марфа, вдова, Исака Андреевича жена, великого Новгорода посадница, дает в дом Николы чудотворца, что у р. Ветлуги игумену Макарию и старцам вотчину свою, ловища рыбные и земли и воды и лес черный дикий и на той земле деревни (перечисление) с людьми и скотом и животом». Или, вот еще, если я вам не наскучил, интересный сохранившийся в моей памяти документ, как заволжские старцы в древности утесняли черемис. Луговая черемиса жаловалась царю на игумена Унженского монастыря Пафнутия и старца Варлаама: «... и в прошлом-де во 166 году и во 168 построили те старцы вновь пустыни (перечисление—где) в их черемисских ясачных ухажьях и крестьянскими дворами поселились. И их-де, черемису, в тех угожьях бьют и увечат и всякое поругание чинят и стреляют по ним из ружья и многую-де черемису побили до смерти. И от тех-де старцев многие ясачные двory загустели и врознь разошлись. И ныне-де те старцы Варлаам с братией и со крестьяны...»

В это время десятилетняя дочка археолога примчалась запылавшаяся, с маленькой лопаткой, и закричала:

— Папочка, папочка!.. Я культурный слой нашла.

— Где?—и мы направились за веселой девочкой.

Археолог надел очки, встал на карачки и звонко рассмеялся:

— Какой же это культурный слой! Это просто прошлогодний коровий помет,—и подозвал к себе крестьянского паренька.

— Слушайте, Александр Федорыч. Промеряйте шагами до бровки холма, до озера и до завода. Только точнее. А я зарисую ситуацию. Что, нашли? Ага! Великолпно! Три наконечника стрел... Где?

Солнце закатилось. Я лег на песок и глядел в широкие волжские степи. Волга здесь разливается на 30 верст, здесь весной сплошное море, и лишь правый берег реки Костромы значительно приподнят, он весь пестрит деревнями и селами. Белеют колокольни, горят кресты, кругом зеленое море трав и только кое-где желтеют нивы.

Мои спутники заняты своим делом: обмеряют, роют, кто-то купается в пламенеющих закатных водах озера. Воздух тих. Косые лучи солнца загрёбисты, они обхватывают каждый предмет, углубляют тени, все становится чеканным, выпуклым. Мне мерещится стойбище древнего человека, который спит, может быть, под теми песками, где я лежу. Вот его табуны несутся птицами из края в край, а он сам только-что раскрыл дубиной медвежий череп; зверь, издыхая, рычит, рычит и дикий человек, каменным ножом сдирая со зверя шкуру. Я приподымаюсь, всматриваюсь. Прямо на меня идет житель. Но это не печенег, не мерь, это, должно быть, культурный человек нашей эпохи. Но кто же он? На его ногах длинные английские сапоги со шнурками, белая чесучовая куртка, шляпа.

— Позвольте познакомиться... Местный крестьянин... Услыхал, что вы из столицы. Очень приятно поговорить...

Он присел на песок, достал серебряный портсигар и закурил. Лет тридцати, с небольшими белыми усиками, глазки медвежки, исподлобья, а говорок костромской, быстрый, с захлебцем.

— Да,—начал он.—Вот в этом холме разные каменные вещи находятся—и прочий старый хлам; а рядом, по всей нашей Шунгенской волости—электрификация. То-есть две противоположные культуры. А день, одним словом, сегодня праздничный, гляжу—в песке ученые люди роются, это здесь часто; дай, думаю, пройдусь...

— Что ж, у вас электрическое освещение?

— У нас?!..—восторженно воскликнул он.—А разве не слышали? Во всех газетах пропечатано. Прошлым летом открытие было. Гражданское торжество. А впоследствии времени, как водится, молебн. Ну, так, не для всех—для желающих: всё-таки другие, которые темные, желают верить, что это самое электричество не от Бога, а вроде от нечистика. Ну, все-таки прогресс страшный. Спросите-ка нашего мужика, есть ли у него электричество, он вам ответит: «даже у каждого шелудивого поросенка под хвостом по лампочке»... Честное слово.

Крестьянин сопел и пофыркивал от прилива чувств.

— В 1918 году удумали, а в 23 открыли. Теперь превосходно. Оно, правда, подороже керосина, но все-ж таки... 3 руб. 60 к. в год за лампочку в 25 свечей. Пробовали электричеством пахать, ничего не вышло: и проволока дорога, и плуги не приспособлены, да и не умеем. А в некоторых районах все-таки электропахота введена. Впрочем, и земли-то у нас, как у журавля на кочке, пахотной-то: у нас главное—луга и картошка. Ведь у нас здесь по всей волости картофелетерочные заводы. Крахмал делаем, патоку, глюкозу. Да этой самой патоки-то столько нынче наворочали, что и деваться с ней некуда. До 1000 пудов в сутки выгоняем. Думаем в скорости карамель выдeldывать, ландрин. А всему нашему делу голова М. И. Стругов из д. Тепры. Да вон он и сам на велосипеде катит.

Рассказчик вскочил и, глядя на нивы, где мелькала сутулая спина, закричал:

— Эй, Стругов, Стругов!—Не слышит.... Ах, хоррош... Ну и башка. Он и в Москву от нас порхает, и в Ленинград, и Нижний—на, бери денежки, только знай работай нам на пользу—от всех делов крестьянских отстранили его, платим 150 рублей в месяц, да ему и 300 не жаль,—оправдает. Ба-а-шка.... Нет, еще не вывелись у нас в деревне хитроумные мужики. А в коноводе—главная суть: ежели управитель не брюхом, а головой думает, все идет, как по маслу: лови-бери-подхватывать!

— Что же, ваши заводы кооперативные?

— Обязательно... А как же! Сначала было несколько первичных кооперативов, 800 пайщиков, а теперь все кооперативы соединились в Шунгенский союз кооперативов—4000 пайщиков. В нынешнем году оборот к миллиончику рублей подойдет. Да! По первоначально, конечно, и частные заводы были. Мы начали их хитроумно утеснять, конкурировать, как на молочном производстве, так и на картофельном. Дороже принимать продукты стали по пятаку на пуд, к нам все и понесли. Частные пыхтели-

пыхтели, лопнули. Мы, значит, ихнее имущество умненько под себя, на всем ходу. Так и обрастали. Да вот, ежели вы интересуетесь вплотную, я вам в цифрах. Я, ведь, в союзе счетовод.

Он достал записную книжечку и торопливо заперелистывал:

— Вот, пожалуйста... Наш союз в губернии самый старый. Первый кооперативный терочный завод открыт в селе Шунге в 1909 году и два завода в селе Корякове. А по всей Костромской губернии в 1919 году было: 12 заводов в Заволжском районе, 6 в нашем, Шунгенском, и один в Пушкинской волости. Вот, пожалуйста, табличка ¹⁾:

В 1917 г.—11 заводов, переработано пудов картофеля	130.750
» 1918 »—18 »	» » 197.168
» 1919 »—19 »	» » 56.398

— 1919-ый—год голодный, тут уже не до патоки, сами картошку с удовольствием ели. Позднейших сведений по губернии не имеется. Хотя я знаю, что в 1922 году уцелело лишь 7 заводов. Но, поскольку мне известно, картофелеперочное производство восстанавливается и в скорости зашибет довоенную норму. А вы все-таки запишите: Шунгенская волость патоку гонит, только мы одни во всей губернии. У нас и вальцовая мельница и лесопилка. Даже шоссе думаем по своему району проводить. Мы—замечательная волость: вот поедете на пароходе по Костроме-реке, увидите, какой у нас завод с электростанцией сгромаханы. На самом берегу. Сами сделали, сами!. В прошлом году. И электрификацию увидите, мощностью в 500 сил. Все говорят: упадок при новых правах, упадок... Чорта с два! А почему же у нас вместо упадка—патока? А в скорости ландрин покажется... Вот-те упадок... ха-ха!.. Нет, все от башки да от рук зависит... Как до десятого поту поработаешь, вот-те и патока потечет. Странное дело!

Потная, усталая, подошла с лопатками наша компания. Геолог с гордостью открыл коробку из-под папирос и показал каменную дрянь и черепочки.

— Эпоха неолита... За каких-нибудь два часа,—улыбаясь, проговорил он.

А крестьянский сын, отирая потное лицо, добавил:

— Вот у меня в деревне замечательный каменный топорик, аккумулятивный такой, уютный...

— Уютный?—поднял брови геолог.—А пойдемте-ка домой.

— Папочка, папочка!—кричала из-под откоса девочка,—я культурный слой нашла...

II. Район хмелеводства.

На пароходе.—Осколки войны.—Деревенская грязьница.—Разговоры за чаем о поэте Некрасове, мужичьих пожарах и колоколе.—Смерть солдатки.—Ликвидация безграмотности.—Тяга к «культурному цеху».—«Религия подгадила».

Третий свисток, и наш маленький пароходик, пробежав от городской пристани с версту по Волге, повернул в реку Кострому. Осенний дождь и ветер обращает июльский день в сентябрь. Крохотная каюткомпания первого класса битком.

Вошедший купец сердито сказал:

— Тьфу! Даже сести некуда. И куда это народ по нашей речонке взад-вперед ездит...

С билетом первого класса я спустился во второй: там грязно и воюче, как в конюшне, зато шумно, говорливо. Прямо на полу валяется одетая в прорехи красивая молдаванка и кормит ребенка грудью. Возле нее всклопоченная, черная старуха, похожая на ведьму, и бородач

¹⁾ Из брошюры Н. Воробьева «Кооперация в Костромской губ.», 1924 г.

с громадными—в кулак—бубенцами вместо пуговиц на трепаной куртке. Это беженцы из нашей Бессарабии.

Старик-крестьянин, румяный и улыбочивый, чавкая ситник с чаем, весело спорит с молодым коммунистом, тоже крестьянином, но, видимо, советским городским работником, едущим с молодой женой на отдых в деревню. Сначала спорят о религии, потом о деле.

— Как это от природы мир произошел...—подмигивая публике, наступает старик.—Глупая твоя наука, раз она гласит, что хозяина в мире нет. Ну, а как же вот этот самый пароход—тоже природа создала? Али ему хозяин есть, скажем, пролетарий работал его? Отвечай!

Слушатели улыбаются, подзуживают коммуниста, поддают жару.

— Стой, стой, папаша! Я тебе докажу...

— А чего мне стоять. Я и сида... Нет, брат, бог всемогущ, вот и создал все...

— А вот и не всемогущ. Пускай-ка, в таком разе, козырного туза покроет...

— Туза-а-а?!—изумленно тянет старик и скребет под бородой. В его глазах скрытый смех и ужас.

Народ хохочет:

— Что, дедка, съел?..

Коммунист, видимо, удовлетворен, что анекдотом так ловко обремизил старика.

— Ну, ладно, бога в сторону,—осипшим голосом ввязывается молодой крестьянин, черный, как арап, и взъершавшийся.—А вот ты, товарищ, ответь, почему при новых правах такая масса безработных?

— Безработных?—переспрашивает коммунист и напряженно поводит бровями.—А вот почему...

— Дуть надо этих безработных! Лодыри!—неожиданно приходит на помощь коммунисту старик-богозаступник.—Это не от правительства зависит, а от лени. Да вот я вам скажу... Весной было дело так. Пригнали, значит, мы плоты в Кострому; пошли пильщиков искать и прочих людей для береговой работы. Лесотдел нагнал безработных с биржи труда человек 80. Вот попилили они, повалались денек-другой, да и ушли... Вишь, ты, работа очень тяжела, а у них ручки нежные и, кроме того, возле сырости закашлять можно... Ах, сволочи. Датаких людей в Волгу надо с крутого берега свырять... Безработные... Много таких безработных под баржами на Волге на боку лежат, легкой ваканцыи дожидаются: кого бы за горло сбреть...

— Ну, а почему же,—трясет коммуниста за рукав молодой крестьянин и обводит глазами мужичьи бороды, как бы ища поддержки,—по какому же такому правилу нашего брата, мужика, в правительство не допускают? Почему дальше уезда нет мужика в правительстве?

— Вот так раз! А Калинин-то?

— Врешь, Калинин наполовину мужик, наполовину рабочий цех. А почему же... когда это... Да, в двадцатом годе, кажись, мы крестьянский союз хотели организовать, а на нас намахали в Москве: вы, дескать, серая масса...

— Не серая, а пестрая: среди вас много богатеев, кулаков... Под пролетария вас трудно уравнивать... Организуйтесь в кооперативы...

— В кооперативы? Значит, мужику нет доверия?..

— Как нет! Полное доверие. И доверие и поддержка.

— Поддержка?..

Пароход загомосил свистком.

— Село Шунга... Пойдем-ка на ихнюю механику любоваться,—примиряюще сказал старик.—Вот у них безработных нет. Этих безработных да пьяниц вот как дрючить надо—говори, где чешется!.. Безработные...

Выхожу на палубу. Через мелкую сеть дождя сереет высокий вечерний берег. На самом берегу электрическая станция, дающая световую силу двадцати трем деревням волости. Левее—красное двухэтажное здание картофелетерочного завода.

Пароход взял двух пассажиров и заработал дальше. В некоторых плесах река Кострома почти сплошь преграждена плотами; на плотках много свежесрубленных, красивых, словно игрушечных, домиков: они сплавляются вниз, на продажу, в безлесные места.

Часов в 6 вечера пароход приткнулся к левобережной луговине и сбросил трап. Нагрузившись котомками, человек 20 пассажиров двинулись в путь к селу Мисскову, лежащему отсюда верстах в трех. Река делает здесь большую излучину и часа через два снова подшибается к селу с противоположной стороны. Пока пароход шлепает этот путь, мы успеем дошагать до Мисскова.

Дорога трудная: дождь, скользь, холодный ветер. Беженцы-молдаване хмуро шагают. Они гугают по России с 1914 года, вышли с родины артелью в 30 человек, теперь их осталось с десятков, остальные померли. Живут в нищете, в грязи. Где выпросят, где своруют.

— Тяжело жить-то?—спрашиваю рядом шагающую красивую молдаванку с ребенком.

— Ох, товарищ! И не говори... Вот дитё малое, свое, а так бы об камень бросила и сама бы в речку... Ох...

— Никакой родины не стало у нас,—бубнит бородастый молдаваннин.—Куда идем, и сами не знаем... Вот она, война. Чтоб Вильгельма лихорадка затрясла, проклятый чалвэк...

Лес кончился. Поляна, Миссково. Начинается непролазная грязь. Молдаванка упала с ребенком и плачет.

— А нам недалеко!—кричат веселый мужичок с веселой бабой.—В эту хату нам. Мы к свояку в гости... А вам доведется похлюпать... Грязища здесь по горло.

Вступили в село. По дороге не пройти. Плетемся возле изб, хватаясь за стены, чтобы не кувырнуться в густой кисель. Кое-где слышались раздражительные матерки. Парнишка протестующе снял портки и идет среди грязи с видом победителя. Матрос перебрасывает котомку с плеча на плечо и на всю улицу кричит:

— Какие глупости, что человек произошел от обезьяны! Вовсе даже не от обезьяны, а от свиньи. Каменных домов, черти, наделали, а нет, чтобы плёвый тротуарчик проложить... Культу-у-ра!!!..

На него из глубокой грязи глядит розовым пятачком счастливый боров и насмешливо крутит хвостом, как штопором.

* * *

— Не пригитите ли нас, батюшка?—обращается мой спутник к стоящему у ворот красивого полукаменного дома священнику.

— С удовольствием бы. Но у меня у самого приехавшие гости.

Очень жаль, что не удалось познакомиться с матушкой. Эта энергичная пожилая дама, говорят, занимается общественной деятельностью, ревностно работает в местном политпросвете. Молодежь очень ей признательна, но искренности ее не вполне доверяет.—Почему?

— Да, знаете, все-таки попадая, кутейницкий мелкобуржуазный класс. А впрочем, помощь от нее большая.

Мы остановились у крестьянина-середняка, в каменном двухэтажном доме. Пили чай в очень чистой горнице: обои, занавески, простая красивая мебель, сделанная руками хозяина, засиженные мухами фотографии, диплом Костромской выставки за образцовое ведение пчеловодства, деревянное чучело утки, в которое вклеен был не один заряд дрови.

— Э, да вы пчеловод и охотник?

— Как же! И медок люблю, и с ружьишком побаловаться. У нас места для охоты ладные. Вот верстушки за три начинается большой лес: и медведи водятся, и лоси. Даже сам Некрасов стихотворец, Алексей Николаевич, частенько в наши местности наезжал. Как же!.. Недалеко отсюда деревня Шоды, у него там дружок был. Может, знаете «Кому на Руси жить хорошо», там написано посвящение нашему мужичку. Али

в «Коробейниках» это—забыл я. Матрена!—крикнул он жене.—Принеси-ка из чулана некрасовскую книгу. Как же!.. И «Коробейники» из наших местов списаны. А тот охотник, который убил парня-коробейника, из деревни Сухоруковой, был посажен за это в тюрьму, да помещик похлопотал за него, крепостной был, барину убыток,—ну, выпустили. Эй, отец! Иди чай пить!

Из соседней комнаты, где кухня, кряхтя, поднялся с табуретки старик—лапти плел—высокий, благообразный, с болоной на лбу, и сутуло пришагал к нам, отирая рукавом взмокшее лицо.

— А про Мазаю, да про зайцев-то,—сказал старик, крестясь и залезая за стол,—тоже в наших краях. Вот вы проплывали мимо села Спас-Вежи, оно от реки-то в стороне чуть-чуть, отсель верст 15, там Волга сильней топит местность, чем у нас... Там бани по край села все на высоченных столбах стоят, на сваях, как на курьих голяшках. И житницы так же самое. А у кого низкое место—и сеновалы. У другого сеновалище, как колчег в потоке во всемирном—страсть смотреть, какая громадина, а то снесет. Там лестница в баню 15 ступеней, а у нас ступеней с десятка. Вот зайчаты действительно там и сгруживаются на пригорках по весне. И теперь остался там род Мазаевы. Да я и сам лавливал косых, и сам вроде Мазаю вышел.

Матрена подала потрепанную книгу. Хозяин долго листал страницы:

— Вот она! «Коробейники», так и есть: «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу, крестьянину д. Шоды, Костромской губернии». А сам-то Гаврила помер, теперь его сын, тоже охотник. Мы частенько с ним хаживали, охотник знатный. Вот слушай:

«Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почаству спрашивал:
«Что строчишь карандашем?»»

— А позвольте вас спросить, будьте так любезны,—обратился он ко мне, крутя свою рыжую бородку.—Вы тоже вот все в книжку запись образуете, вы не стихотворцы, современным?

* * *

Я понимаю, почему здесь так скучены постройки. Всю окрестность, ровную, как блин, топят весною вода, и на небольшом пригорке, где расположено с. Миссово, постройки жмутся друг к другу, как Мазаевы зайцы. Иногда расстояние между смежными избами столь не велико, что бабы могут передать из окна в окно ухват, горшок, а нет—так и голешку разжечь печь.

— На моих памятях,—говорит старик,—наше село четыре раза горело. То от недосмотра, а то и от поджогов. Есть такие, стало быть, подлецы, пятнай их черти, очень даже любят красного петуха пустить. Он, анафема, подожжет, да дивуется, ловко ли пластает. Прямо беда. После четвертого пожара—в 1910 году,—порешили мужики строить кирпичные избы, благо суглинок у нас богатейший. Теперь без малого все село каменное. Сами и кирпич обжигаем. Да оно и дешевле лесу. На избу в 3—4 окошка надо 20—30 тысяч кирпичей; раньше он по 3 рубля с тыщи был, теперь до 6 рублей. Оно и красиво глядеть, бытто город, и опасности меньше, и страховка дешевле. Гляди, какое село-то, а?! Где еще найдешь такое?

Дома, действительно, один к одному—красные, под драничной, тесовой, иногда железной крышей. Встречаются дома двухэтажные, с террасой, балкончиком. Есть и деревянные избенки, видимо, уцелевшие от пожара, или хозяйева которых боялись перейти на новшество.

— Страсть какие бывали пожары,—повествовал дед, почесывая шишку на лбу.—После первого пожара колокол распаялся,—а колокол у нас на славу,—звон в Костроме слышать. Оловянных пелюшек

релил нам в Ярославле. От последнего пожара опять колокол упал, опять возили в Ярославль. Там нас обманули, 100 пудов укртали, вместо 1040 пудов—940. Хлопот с этим колоколом было выше головы, а греха—и не отмолить. Вот ты штуки разные в книжку пишешь, можешь про колокол записать. Как стали подымать,—народищу вся волость собралась, усмотрели на колоколе надпись, мол: «Отлито сие колоколо при императоре Николае II и при крестьянах-попечителях таких-то»; три фамилии обозначено. Народ к ним, к попечителям: «По какому праву вы, лешегоны, пожелали без спросу на колоколе упоместиться? Счищайте, а то веревки обрубим, не станем подымать». Те не желают—им лестно красоваться рядом с царем. Мы их за грудки, они бежать. Целую неделю колокол не подымали. Потом они выставили нам винца и сказали: «Подымайте без задержки, мы наверху счистим, по крайности звон услышим». Мы, известно, подняли, потом сердце улеглось, так и забыли, а они и не подумали счищать. Очень надо.

* * *

Мы сидели на солнцепеке, на завалинке. От густого киселя, заполнившего все улицы, шел болотный дух. Подходил народ, присаживался.

— Хорошо бы колокол послушать,—сказал мой спутник.

— А вот услышишь. Завтра будут вдову хоронить. Не старого еще положенья, крепкая бабочка, а вот свернулась по своему бабьему уму.

— Что с ней?

— Да, видишь ли, какое дело могло произойти. Известно—вдове положение, ну, слабовата оказалась на любовь на эту самую, чрез то в тягостях стала, значит, понесла дитё. Девки у нас, известно, очень смирные, за собой следят, мужние бабы тоже баловством не занимаются, а солдатке—бог велел. Ну, ладно.... А она застыдилась, а может, не пожелала камень такой на шею брать, порешила дитя из утробы вон, скинуть, значит. Да чего-то плохо с ней бабка пообиходилась,—ей хуже да хуже, принудили в город ехать, да уж поздно спохватилися: приехала из города, да и померла третьеводнись, царство ей небесное.

— Тьма потому-что,—сказал дядя с длинными, как у страуса, ногами—Право перевернулось, а настоящего ученья ребятам нет. По газетам слышать, к десятилетию революции безграмотность хотя вывести, чтоб старых баб, да стариков в грамоте учить. Глупость это на мой резонт. Вот мою дуру учили, Мавру: сядет на лавку—бы, вы, гы—там теленок кричит, пойло давать надо, а там кур кормить, да квашню ставить,—так ни шиша и не образовалась. Да и ни к чему. Наш век прожит; а вот что ребята не учатся, это не резонт.

— Почему же не учатся?

— Да как вам сказать, не соврать. Иногда родители воспрепятствуют, не в сознании, а то и рад бы, да не в чем ребенчишка в школу выпустить, сапожикшек нету, а бывает и так: походит парнишка недели две, книг не на что купить, али бумаги, карандашей. А надо вот как. Надо ученье сделать обязательным, как солдатчину, и для девчонок тоже. И чтоб от школы были все способности: книжки, перья. Раз с нас налог идет, можно и нам что-нибудь сделать от правительства, не все ж рабочего ублажать: без мужика рабочий тоже много не надышит. А старух которых—по шее от школ, не то что учить, чорт их не видал. Да чтоб хороших учителей, самостоятельных. Вот тогда и будет Русь грамотная, старичьё к тому времени переколеет. Это резонт! Например, я желал бы пустить своего парня по культурному цеху....

— Это какой же культурный цех?

— Ну, там агроном, либо доктор.... А средств нет никаких. Вот беда. Вот мой сосед учит сына в городе Костроме, ну, и работает на него вот уже три года, навещает его каждую неделю, под провозом ездит в город с кладью, для заработка, и все на сына уходит, а свое хозяйство день-ото-дня хуже.

— А школа есть у вас?

— Есть, да дрянненькая, не по селу, — сказал чернобородый, бывший в плену, крестьянин. — Была бы у нас давным-давно хорошая школа, и деньги были у общества сурьезные, да религия подгадила. Это еще при царе: — одни, значит, за школу голосовали, малая часть их, а другие с большого ума — иконостас подновлять. Вот теперь иконостас гормя-горит, весь в золоте, а молящихся нет. И школы нет.

— Надо строить.

— Да вот стараемся. Теперь за ум взялись, маленько дурость-то вышла эта. Теперь постановили наши два селения — Миссково и Жарки — старoverческая деревня, богатая, в версте от нас — отдавать в аренду свободный покос, — это тысячи три-четыре в год, пожалуй, — и выручку копить в фонд школы. Оба наши селения долго шумели, где быть школе — у нас или у них, чуть до мордобоя дело не дошло, всякому селенью лестно. Решили две школы выстроить, каменные, конечно, двухэтажные. Лет через пять строгаем, а, может, и раньше, ежели денег занять сумеем. Завод наш начал уже кирпичи вырабатывать, 200 тысяч по заданию нынче должен обжечь. Техник приезжал, планты снимал, школа будет с фасадом, как и у порядочных людей. Всем делом вертит наш мужичок, конечно — А. П. Серегин; он председатель кооператива и член местного клуба. Очень уважающий человек.

Я хотел закурить, но взглянул на дощечку, прибитую к угловому дому, и спрятал папиросы. На дощечке — на всех углах улиц такие дощечки — надпись: «В улицах табак курить строго воспрещается».

— Где же у вас курят, на сеновалах, что ли?

— Ничего, курите. Это можно. Это для фасона только.

Солнце садилось. Колокольня белой верстой вздымалась в небо и опрокидывалась в тихий сонный пруд. В небе плыл коршун. Петухи подали сигнал, и все цыплята, как в решето, провалились во дворы.

III

Цифры. — Голод. — Пастуший рожок. — На хмельниках. — Пасека. — В чайной. — Стенная газета. — Комсомольцы. — Благочестивая бабка, шутник-хозяин и красавица Груняха. — Картинная галлерей.

Хмелеводство в Костромском крае, в частности в Миссковской волости, существует с незапамятных времен. Первое научное обследование миссковского хмелеводства было произведено в семидесятых годах прошлого столетия директором Петровской с.-х. академии Н. И. Железновым.

Район хмелеводства расположен в пойме реки Костромы, вверх по ее течению. Он начинается на 10-й версте от города Костромы и тянется до сороковой версты.

Общая площадь хмельников всего культурного района и цена хмеля по годам таковы ¹⁾:

1903 г.	430 дес.	по 10 р. 50 коп.	за пуд.
1914 г.	509 дес.	по 10 р. 00 коп.	за пуд.
1918 г.	365 дес.	по 3 р. 50 коп.	за пуд.
1920 г.	112 дес.	по 1 р. 50 к.	за пуд.
1922 г.	186 дес.	по 8 р. 00 к.	за пуд.
1923 г.	325 дес.	по 25 р. 00 к.	за пуд.

Из таблицы видно, что наибольшая культурная площадь была в 1914 году; с начала войны и запрещения выделки спиртных напитков (и пива) площадь хмелеводства стала падать, достигнув в 1920 году 112 десятин, т.-е. всего 22% площади 1914 года.

— Был в революцию несусветимый голод в наших местах, — печаловался мне крестьянин. — Ведь у нас только хмельники да луга

¹⁾ А. Ковальковский. Хмелеводство в Костромском крае. 1924 г.

и существуют. Мы не как другие-прочие, хлебопашеством не занимались: местность нашу водой кроет. А как ударил голод—заместо хмеля картошку стали сажать, пшеницу сеять. Да обрабатывать-то нечем было: ни плугов, ни борон.... Спасибо, из других деревень на помощь пришли. Наняли их в работу. Только ничего, почитай, не уродилось у нас. Что и было, что и было—аж жуть берет! Народу перемерло—как от холеры от какой. Только тем и спасались, что на картофелетерочные заводы ездили, подбирали там в отвалах отбросы картофельные от обработки. Привезешь эту гниль домой, в избе страшная вонь образуется, и над всем селом-то облаком вонища стоит. И ели. Плачешь, а ешь. В Бежецк за мукой я ездил, 10 пудов вез—отобрали. Повыли мы всей семьей с маленькими ребятами. Поехали от общества в Вятскую губернию, пятеро самых верных мужиков, нам общество много денег доверило. Купили 1000 пудов муки, дорогой отобрали всю до фунта. «Не сдохнете, говорят. Люди лучше вас, говорят, помирают с голоду». Вернулись мы ни с чем. Дома нас мужики едва не убили. Да мы и не боялись: смерть лучше. А тут прослышали, снизу мимо нас пароход идет в Буй, хлеб везет. Мы за ружья. Целая войничка была. Отобрали тыщу пудов, отравили: «Езжай с богом дальше». Однако, недели через две отряд пришел, кой-кого порастреляли. Ну, да чего об этом толковать, дело прошлое, как никак—живы остались и помалехоньку на старую точку лезем.

— Сколько ж нынче хмелю у вас?

— Да как и до войны.

День был яркий, погожий. Сегодня праздник. Мы вчетвером идем в хмельники. С нами Александр Александрыч, студент Свердловского университета, из местных крестьян.

Сначала огородами. Ни огурцов, ни капусты нет. Вообще в Костромском крае огородничество не развито. А вот и знаменитые свайные постройки. На высоких столбах, как на «курых голяшках»,—взгромоздились риги и бани. Их целая деревня. Мне припоминаются слова В. И. Смирнова, заведующего Костромским музеем:

— Увидите интересное зрелище, вроде свайного Рабенгаузена близ Цюриха.... Особенно во время весеннего разлива занятно посмотреть...

Мы совершенно свободно проходим под этими постройками, под некоторыми даже можно проехать верхом на коне.

Пересекаем выгон, изрытый свиньями, истоптанный скотом. На пригорке три пастуха. Просим пожилого поиграть в рог. Охотно соглашается. Рог берестяной, длинный, аршина полтора. Пастух сплюнул, надаул щеки, выпучил глаза и задудил. Простая, непередаваемая мелодия полилась по зеленым полям. Мягко и звучно, с каким-то надрывом вылетали звуки то круглыми, веселыми мячами, то бесконечной тугой струной, хватающей за сердце, как плачущий стон.

Я еще раз слышал эту свирельную песню утренней зарей, в лесу. Будто сильный женский голос во всю грудь и от самого сердца звучал без слов. И, если закрыть глаза, увидишь русскую бабу, пышную и румяную. Вся в кумаках, она плывет по солнечному воздуху, скрестив на груди руки, и поёт, поёт, не зная о чем, не зная для кого. Голос ее более тосклив, чем весел, может быть, потому, что тьма прогоняет солнце, потому, что удел земли—печаль.

— А и хорошо ты, Ерема, играешь,—сказал свердловец. В его глазах блестели слезы.

— Играю ничего, ладно,—согласился пастух.—Куда лезешь! Ксы! Ксы!.. Ишь вы, ошалели!.. Гуляй, гуляй!..—покрикивал он на коров, бежавшихся на звуки рожка.

Переходим ручеек, огибаем рошу и—нос-к-носу с плантациями хмеля. Это бесконечный молодой лесок, сажени две высотой, ярко-зеленый и духмянный в знойный день. Хмель посажен правильными, как виноград, рядами. Хватаясь усиками, он цепко вьется возле тычин. Земля у корней окучивается в грядки. В стороне, у дороги, стоят высокие конусами запасные жерди, словно остякские стойбища. Две жен-

щины и мальчик полют свою полоску хмеля—рвут прямо руками сорную траву, а старуха подравнивает землю маленькой лопаткой.

— Бог в помощь!—кричит наш спутник, дядя Герасим, и обернувшись к студенту:—Теперича неизвестно, как и поприветствовать-то. Другому бога-то помянешь, в морду даст.... Как, Лександра? А?

Но Александр Александрович улыбается и говорит мне:

— Хмель у нас неважного качества, впрочем, для домашнего пива очень хорош. Приходите к нам, пивцом угостим. Братейник умеет здорово варить с медом—у нас пасека своя,—а секрет никому не говорит.

— А почему же высоко-культурные сорта не сеют здесь?

— Условия не позволяют. Хмель мы садим на гривах, т.-е. на более или менее возвышенных местах, где воды весной бывает не больше полтора аршина, и она быстрее скатывается, чем с низин. Такое затопление хмельников и полезно—плодоносные наносы,—и вредно, потому что сокращает время, нужное для вызревания. Нужно, чтоб вегетационный период был дней 130, а у нас он 97 дней. Незатопляемых же участков земли здесь вовсе нет.

— Что же по-вашему нужно сделать, чтобы улучшить хмелеводство?

— Да специалисты говорят, что все дело у нас неважно поставлено: и посадка слишком частая, и удобрение почвы неважное, и уборка, и сушка продукта неправильная....

Дядя Герасим возразил:

— Неважная.... неважная.... Что хочешь, охаять можно. А вот они бы показали нам, спецы-то....

— Вот, вот,—сказал студент.—Конечно, надо опытное поле заложить и попытаться вывести скороспелый сорт хмеля. А ведь с хмелеводством шутить нельзя. Его по всему району в прошлом году на 635.750 рублей продано. Он вывозится из нашего края и в Ярославль, и в Нижний, и в Тверскую губернию. Вообще, хмелеводство имеет существенное значение не только для отдельных хозяйств, но и для всего края в целом.

— А сколько, примерно, с десятины можно снять пудов?

— По-разному, год на год не приходится,—сказал дядя Герасим.— Вот я запомнил—в 1920 году по 35 пудов с десятины взяли, а в 1911 году—по 102 пуда.

Студент повел нас на пасеку брата. Дядя Герасим, ухмыляясь во все свое бородастое лицо, сказал:

— Вот приехали бы вы осенью, когда хмель обирают. Эх, и веселая пора, особенно ежели погоды хорошее задастся, да урожаем добёр! К нам тогда народу много приходит наниматься из других деревень, все больше девки. С работ идут с песнями, с играми. Пиво тогда варим, гуляем. Парни невест себе выбирают. Приезжайте-ка!

— Я не парень,—сказал я.—Жениться не собираюсь.

— Я не к тому,—засмеялся дядя.—А так, для усмотренья дел.... Авось, и пропечатаетесь.

Дорогой беседуем о религии, о положении интеллигенции в деревне. Студент говорит, что вера в церковь в русском народе пошатнулась, но религиозная потребность есть. И если суждено быть какой-нибудь религией, то без бога и ангелов—уж слишком сантиментально,—а будет религия человеческая, земная, ради человечества, с главной заповедью: «Живи сам, давай жить и другим».

— А что касается интеллигенции в деревне: учителя, агрономы, землемеры, разные спецы,—то ей очень трудно. Она как бы между двух огней: с одной стороны, требование советской власти, с другой—требование крестьян уважать их уклад, ныне отживший.

Дядя Герасим, видя, что я всем интересуюсь, напряженно поводит бровями, придумывая, чем бы меня удивить.

— А вот,—говорит он,—в досюльные, древние времена мы не в проходимых лесах жили, занимались разбоем. И никто не мог к нам пройти.

А кто проходил, тех называли «проходимцами». Также насчет кладов. Кладов много у нас здесь в разных местах положено заповедных. Вот за рекой холмик есть, там, другие видят, ночью в виде теплыни горит. Пробовали брать, не поддается, страшает.

Пасека небольшая, ульев на 20, обсаженная липой и малинником. Пчелы сегодня сердитые—были затяжные дожди, сегодня ясно—работают во-всю, не подходи. Среди пасеки—опять на курьих голяшках—стоит новая изба. Подымаемся по лестнице. Пчелы выются возле головы.

— Не машите руками,—предупреждает студент.—Спокойно.

— Да ведь она, бог с ней, ежели в бороде запутается, обязательно жиганет,—говорит дядя Герасим.—Одна мне как-то в лоб порснула, едва с ног не слетел.

В избушке пахнет медом. Лежит вощина, стоят рамки из-под меду, кадушки, центробежный аппарат.

— Здесь у нас зимой улы спасаются, а летом караульщик живет. А то всё упрут, хулиганов хоть отбавляй,—говорит студент.

Мы здороваемся с сидящим у окна, на обрубке, человеком. Это сторож. Ему на вид лет 30, испитой, тщедушный, покашливает. Он инвалид, был ранен и контужен в германскую войну, местный крестьянин. К физическому труду совершенно непригоден.

Когда мы вошли, он сапожничал, стряпал какие-то непомерной величины бахилы.

— Отчего это у тебя физиономия-то вспухла, Яков?

— А? Не слышу!..—кричит он.

Желтое лицо его, действительно, в шишках, и полузакрылся глаз. Студент повторил вопрос.

— А-а-а...—улыбается Яков.

Его лицо принимает придурковато обманутое выражение, он фыркает смехом и сипло говорит:

— Сво-о-о-лочь...

— Кто?

— Да старик один, дедка Егор Нестеров. У меня, понимаешь, страшный ревматизм в ногах, а дедка присоветовал, чтобы пчелы хорошо нажгли, бытто ревматизм проходит от пчелиных укусов. Сними, говорит, портки, да хорошенько раздразни пчел-то, нажгалай и все пройдет. Я, понимаешь, обрадовался этому рецепту, снял штаны, да ну, благословясь, хворостиной по ульям бить. Они и взвились; я, значит, к ним голым задом норовлю, да ногами лягаюсь, они на ноги нуль внимания, да как начали мне в морду стегать. Я прямо округовел, не знаю, куда бежать. Загнул на башку рубаху, да во весь дух в избу по лестнице. Прибег, а там двух девок чорт принес чоботы чинить. Девки как взвоют, думали, лесовик явился, а после того в хохот: а я уж и глазами не могу взирать, оба глаза затекли, часа два холодной водой промывку делал. Вот что значит старых дураков-то слушать,—заклочил Яков, посасывая трубку.

Дядя Герасим раскатисто хохотал и все выпытывал у Якова, не ослепли ли девки.

Мы вышли и стояли наверху лестничной площадки Пасека, как сад. Ульи выкрашены в разные яркие цвета, чтобы пчела знала свой дом.

— Это место тоже вода обливает весной,—сказал Герасим.

— Да,—подтвердил студент.—А липа как раз тогда в цвету. Чтob пчелам дать работу, ульи привязываем к деревьям, поверх воды. На лодках все это делается. Весной много пчел погибает. Прогонит далеко ветром, ей и сесть негде. Едешь на лодке—много пчелок погибших плывет. А другие на тебя садятся, отдыхают.

* * *

Я стою, плотно прижавшись к стене. Напротив меня полукаменное двухэтажное здание. В нижнем этаже—чайная, в верхнем—народный

дом. Среди дороги, под навесом, общественные весы, на столбе маленькая иконка.

Мне хочется перебраться через дорогу к чайной; я меряю глазами глубину киселеобразной грязи, и мною овладевает трепет. По стенке прямо на меня, идет девушка в пальто, галошах и шляпке. Мы друг друга, обнимаем в охапку, чтобы не упасть в грязь, и когда девушка встала на сухое место, я спросил ее, не знает ли она, как крестьяне попадают в чайную. Она улыбнулась и ответила:

— Идите вот до того угла, потом сверните направо, мимо общественной сыроварни, кстати сыру можете купить, очень хороший сыр, 35 копеек фунт, а от сыроварни огородами, мимо колодца, держите влево и как раз подойдете к чайной с задов. А вы кто такие будете?

Удовлетворив ее любопытство, я направился на сыроварню. Сыр, действительно, оказался отменным и дешевым. Скота в заливном районе держат порядочное количество, молочное хозяйство, в частности сыроваренное, налаживается и крепнет. Как в Мисскове, так и в других селениях, где мне удалось побывать,—хозяевами молочного дела являются кооперативы.

Итак, я с головкой сыра вхожу в общественную чайную. Душно, наплевано, жужжат стада мух, как комары в тайге. Грязи значительно меньше, чем на улицах. За топорными столами сидят крестьяне в картах и сапожищах, пьют чай с ситным, который выпекается рядом, в пекарне кооператива. Все взгляды сосредоточиваются на мне, на головке сыра, на моей кожаной куртке. К кожаным курткам даже и в чайных относятся с некоторым мистическим не то страхом, не то почтением. Шумные разговоры спадают тона на два, жужжание мух слышится отчетливее и еще слышно усердное сопенье торчащего за стойкой нечесанного, с диким заспанным лицом, парня. Я подхожу к парню и прошу дать мне чаю, ситного и молока.

— Кипятку с чаем подам. А молока нету,—гнусит он.

— Нельзя ли криночку достать?

— Нет, нельзя.

Тогда от двух столов в два голоса закричали на него:

— Иди, чортова башка!.. Как это нельзя достать... Не видишь?!

Парень тотчас же прозрел. Увидав кожаную куртку, он подобострастно сказал мне:

— Садитесь, товарищ.... Сейчас принесу кринку. Топленого, что ли, желательно?.. Сейчас, сейчас.

Мне хотелось завести разговор, но темы не наклевывалось. Начал в шутливой форме с грязи:

— Как же вы по такой грязище ходите?... А вдруг который выпивши?

— Бог миловает,—ответил старик.

Рыжебородый же, с бельмом, обернулся ко мне:

— А вот как...—и выплюнул влетевшую в рот муху.—А так пьяный-то, бывает, вываляешься, что неизвестно, где и морда.

— Мы, товарищ, редко пьем,—кто-то прокричал от задней стены, где сидела на скамейке группа крестьян, просто зашедших покурить.— Другой раз осенью случается о празднике мурзынешь, а тогда уж грязи не живет такой, подстынет. Это с дождей.

— Толкуй, не пьем!—протестующе произнес от окна кудрявый, высокий молодец. Он глядел на меня в упор своими быстрыми глазами и обзывал крестьян пьяницами и лежебоками.

— Ты не пьяница, ты не лежебок,—набросились на него хором.— Мы лежебоки, да в сапогах, а ты и старатель, да в природных. Лодырь!.. Твое дело народ мутить...

И кто-то рядом, ко мне:

— А вы, не обессудьте, партийный будете?

Моя беспартийность принята была к сведению, и народ стал откровенней. Потекла и бившая оскомину старая песня про белого бычка, о прижимке, о больших налогах, «с нас дерут, а нам ничего не дают».

— А кто пьет-то? Комсомол же ваш и пьет... Пстой, пстой! Не ори! Ишь ты, глотка-то широкая какая...—кричит рассказчик на кудрявого молодца.—Например, послушайте, как происходит дело. Соберутся это комсомольцы перед праздником на мост, да проезжих крестьян и останавливают: «Стой, что везешь?» И ежели у мужика самогон окажется в телеге, сейчас боченок заберут, а мужику: «Айда за нами в исполком!».. Ну, мужик, известно, перетрусит, настигает лошаденку, да и был таков. А комсомольцы и жрут самогон, а нет, в продажу пускают.

Кудрявый молодец стучит кулаком по столу и злобно бросает:

— Врешь, врешь!.. Это другие ваши парни хулигают... У нас дисциплина... Да за это бы...

Его поддерживают два-три голоса:

— Чего неправду говорить... У нас так принято: чего бы худое не стряслось, вали на комсомол... Чуть! У меня у самого Петрунька комсомолец, а куда не видал от него...

— А по какой же вы части? Командированные, что ли?—поддевает меня с ласковой улыбкой старичек.

— Нет, я человек свободный, брожу по России, учусь жить, учу жить, сочиняю книги...

— Да, да,—ядовито замечает старичек.—Легкая вакансия... Хорошо которым в городе жить: не жнут, не сеют, а...

— Смыслишь ты!..—кричит неумный кудряш.—Они головой работают, они с наших глаз слепоту снимают. Такие-то люди... Петух старый!..

Я иду к выходу, останавливаюсь возле стенной газеты. Огромный формат, рисунки.

— Только сегодня вывесили... Первый номер,—подходит ко мне кудрявый молодец. Энергичное лицо его светится умом. В нем много от города.

Читаю стихи:

Миссково, пьяное царство,
Скоро ли к свету пойдешь,
Бросив гульбу и ухарство,
Жизнью иной заживешь...

Несколько заметок, где прохватываются местные порядки и отдельные лица. А вот поразившая меня статейка, написанная, конечно, безграмотно, но по серьезному вопросу. Как еще темна жизнь нашей деревни и какую большую пользу может принести крестьянину даже стенная полудетская газета. В статье предупреждаются местные жители о непосредственно угрожающей им опасности поголовного заражения сифилисом. Дело в том, что один из сельских пастухов—сифилитик. А по существующему обычаю пастухи питаются и ночуют у крестьян, переходя по очереди из семьи в семью. Едят, как водится, из общей миски вместе с хозяевами, спят на тех же самых подушках, словом—путь для заражения прост. Я не догадался навести справки о состоянии здоровья мисковцев, но всякому известно, что некоторые русские деревни почти поголовно поражены сифилисом, причем распространение этой болезни шло внеполовым путем.

Я на этой статье стенной газеты остановился потому, что она говорит о вопиющем факте, который проморгали сельсовет, исполком, врачебный пункт, и лишь крестьянская молодежь затрубила о нем на все село. Нет, врет старик! Я видел этих подростков вплотную и смело могу сказать, что не они грабят на мосту проезжих. Плохие выйдут из них бандиты.

А познакомился я с комсомольцами в их клубе, на верху чайной. Я обещал им прочесть свои рассказы. Разговор был днем. Кудрявый молодец, оказавшийся секретарем коллектива молодежи, сумел привлечь к вечеру слушателей не только из своего села, но успел оповестить и другие деревни.

— У нас дисциплина,—гордо заявлял он.—Раз кому приказано—беги, хочешь на своих ногах, хочешь—верхом. Пяти человекам наряд был дан.

— Перед чтением я присутствовал на деловом заседании коллектива. По-настоящему шевелят мозгами и сызмальства приучаются скопом обсуждать и решать свои дела.

После заседания миловидная девушка в коричневом форменном платье, похожая на городскую гимназистку, выдавала книги подписчикам. Она заведует библиотечкой коллектива, комсомолка, кажется, дочь бывшего торговца. Дело у нее идет быстро, с улыбкой, с шуткой. «Товарищ Вера», «товарищ Ваня», «товарищ Скворцов»,—звенят молодые голоса. Библиотечка небольшая, но правление кооператива обещало выписать на 300 рублей книг.

— Кооператив—наш папаша,—говорит она.—За всякой нуждой обращаемся к нему.

У нее очень много дела, конечно, жалованья не получает. Да и у всякого коллектива дела по горло: групповые занятия, доклады, спектакли.

Чтение мое слушали очень внимательно. Мелкоту предварительны выгурили вон. Даже женщину с грудным младенцем, который заверещал среди чтения, вывели за рукав из зала в сени. Мой спутник, этнограф М. Д. Сигорский, сделал сообщение об археологии края.

В Я Ч Е С Л А В Ш И Ш К О В .

Библиография.

Н. Ляшко. Повести. Из-во «Мосполиграф». 194. Стр. 162. Ц. 1 р.

Автор «Железной тишины» и «Радуги», этих маленьких книжек с маленькими рассказами, рассказами сжатыми, крепкими, хорошо сделанными, Н. Ляшко—перешел, наконец (употребляя ходячее теперь выражение) к широкому полотну. Нельзя еще, конечно, назвать этим именем две повести этой книги, но стремление расширить и углубить отображение жизни налицо. И здесь, как всегда в первом опыте, перед нами искания, отсутствие законченной художественной формы.

«В разлом» и «Стремена»—два разных приема, два пути. Куда пойдет автор? «Стремена» написаны в 3 году, «В разлом»—позднее. И если рассматривать творческое лицо писателя под углом последовательного развития, то видим мы автора далеко шагнувшим вперед. То, что является основным в первой вещи, то, что можно назвать «пленением образа», в позднейшей звучит глухим отголоском, редкими вычурными фразами, тонущими в основном ярко-реалистическом методе изображения.

«Стремена»—призраки, бред больного, история голодного, страшного 21-го года. Вещи живут, думают, чувствуют. Печь «выплась у двери в стену и слушает». «Прокопченным домам снились цветы, тепло». «Столыбы вторили жалобам проводов». «Снежинки спешат, вывески кричат, ветры скачут и бьют копытами»... Все это большей частью удачно, метко, остроумно и «образно». Но так все нагромождено, так беспорядочно и неумеренно сыплется на

читателя, что кажется надуманным, безудержно стилизованным.

«Стремена»—болезнь художника, неизбежная корь, из лихорадки которой он выходит более крепким, более сильным.

Показатель сего вторая повесть—«В разлом».

Здесь Ляшко впервые делает попытку того самого углубления, которого так нехватает всей нашей сегодняшней литературе.

Тема повести злободневна и значительна. Разлад в семье. Муж—врач, старый революционер, половину жизни проведенный в тюрьмах и ссылке. В годы революции, усталый и больной, он сохраняет свою веру и идет с тем классом, из которого сам вышел. Он—сын рабочего, и университетское образование, давшее ему диплом врача, не отрывает его от своего класса. Жена его Аделаида когда-то, в молодости, казавшаяся верной подругой жизни, товарищем по борьбе—мещанка, мечтающая лишь о теплой уютной жизни, о счастье детей, которое видит в «приличном» воспитании, покровительстве губернатора и хорошей карьере. Муж—в ссылке, дети—во власти матери. Она делит из них буржуазных прихлебателей, «воспитанных» и ложенных пустозвонов. И только младшая—Шурка—каким-то чудом ускользает от ее влияния. Вернувшийся вместе с революцией отец находит семью чужой, непонимающей, и только одна Шурка оказывается ему родной и близкой. В ней растет новая женщина, бунтарка, смелая и открытая душа борца.

В этом образе наша надежда на автора, залог его будущих успехов,

творческий перелом. Многого нехватает образу Шурки Крымовой, чтобы стать нарицательным именем в русской литературе. Но можно надеяться, что автор вернется к нему, когда перелом будет завершен.

Тема, выбранная автором, интересно задумана и хорошо выполнена. Это несомненный успех и значительный шаг вперед. Автор оправдывает те надежды, которые возложены на него со времени появления таких рассказов, как «Солнце, плечи и груз», «Ворова мать» и «Нарная чертовщина». Он углубляет и расширяет свой диапазон.

Борис Леонтьев.

Н. Никандров. «Рынок любви».
Рассказы. Изд. «Моспол.». М. 1924.
Стр. 190.

В книге—три рассказа: «Рынок любви», «Проклятые зажигалки», «Диктатор Петр». Темы посвящены эпохе военного коммунизма, но, в отличие от огромного большинства рассказов, рисующих эти годы, как годы героической борьбы (военный фронт, партизанщина), повести Никандрова изображают «мирные» уголки, «мирное» обывательское подполье. Тут и рабочие, оторвавшиеся от производства, слепые и глухие к совершающимся событиям, забившие мозги зажигалками («Проклятые зажигалки»), тут и интеллигенты, панически бежавшие от «большевистских ужасов» («Диктатор Петр»), тут и советские служащие, жиреющие на пайках и спекуляции («Рынок любви»).

Как и в прежних своих произведениях («В одном дворе первая», «Горючая», «Лес» и др.), Никандров остается сатириком и в последних вещах. Сатира его углублена, обострена, краски суровы и угрюмы, смех—раскатыстый и жуткий, коллизии доведены до такой грани, когда не знаешь, трагедия это или нелепость. Художественный метод Никандрова—экспериментальный: в образах его чувствуется гоголевский гнев и скорбь, временами—чеховская грусть. Его художнический глаз останавливается на бытовых мелочах, на уродствах человеческих отношений, на «бедности и несосвер-

шенстве нашей жизни». Обыватель «прет» из всех щелей, улиц и переулков, он консервативен и зол. И художник не может от него освободиться: он в постоянном зорком напряжении—надо разоблачить, раздеть до-нага обывателя, посмеяться над его мерзостью, дикостью и пошлостью. Обыватель для него не просто общественный балласт и паразит: это—враг, упрямый и массовый.

Никандрова не раз упрекали в пессимизме и непонимании революционной действительности. Писатель он—умный, пристальный, боевой, удары его метки и верны. Такой талант меньше всего склонен к пессимизму и слепоте. К Никандрову нужно подходить с иной меркой.

Центральной вещью в книге нужно считать «Проклятые зажигалки». Рабочий Афанасий с сыном Данилой ушел с завода. Там он «тянул лямку» 30 лет. Казалось бы, артельный человек, а вот пришла такая полоса, сорвался с «лямки» и присосался «к своему делу».

«На зажигалках работать все-таки лучше, самостоятельней, вроде как сам себе хозяин. И поднажиться опять же можно, ежели...»

Данило тоскует по заводу, по товарищам, по клубу, по общественной работе. Весь рассказ построен на этой борьбе между сыном и отцом. С одной стороны, классовый инстинкт тянет к станку, к родным рабочим массам, с другой—захлестывает, засасывает мелкобуржуазная тина. Хлеб дорожает, зажигалки дешевеют. Нужно не спать ночей, не съест лишней крошки хлеба: как можно больше пилить зажигалок. Ничего, кроме зажигалок. Они поработили всех: отец, сын, мать обезличиваются, тупеют, превращаются в живые инструменты. Отец сходит с ума: все вещи кажутся ему медью, которая должна превратиться в зажигалки.

Вывод: подлинная человеческая жизнь пролетария—в коллективе, вне его—гибель. Это вовсе не похоже на пессимизм и непонимание революционной современности.

А вот «Диктатор Петр», действительно, не понимает смысла происходящих великих сдвигов. Петр—интеллигент высшей марки, писа-

тель, москвич, чуткая натура, признанный и прославленный талант. Спасая свою шкуру, он удирает от большевиков в Крым: там, у белых, — рай и «культура». Но оказывается, что в этом раю Петр не ушел ни от голода, ни от ужасов. В конце концов он превращается в настоящего изверга, мучителя, палача семьи. Для него ничего не существует, кроме страха за свою жизнь. Он ни о чем не думает кроме, как о прожорливости матери, сестры и детей. Он обезумел от голода и довел до безумия и семью.

«Я,—говорит он,—который когда-то, по молодости и глупости, ради счастья других, неизвестных критиков, пожертвовал собственным счастьем, сидел в тюрьмах, таскался по ссылкам, за границей! И теперь, в зрелые годы, бросил свое приваение, свою карьеру, свою личную жизнь, и все только для того, чтобы выручить вас, потому что, к моему великому изумлению, чувство кровного родства ко всем вам и любовь к матери, в конечном счете, оказались во мне сильнее всех других чувств. Вернее, никаких других чувств, кроме этих, родственных, во мне, как во всех людях нашего времени, совершенно не оказалось...»

Это подлинное лицо нашей интеллигенции, эсерствующей, меньшевистствующей, Никандров сумел нарисовать уничтожающими мазками. Петр умирает, и в этой его смерти — символ позорного, бесславного конца «носителей русской культуры».

«Рынок любви» — не проблема пола, семьи и, вообще, нового быта. Здесь все — от портретной галереи Гросса. Герой — паразит из Центросоюза, жиреющий на сытых пайках, спекулянт, взбесившийся от полового голода. Он ищет «здоровую» женщину для услаждения своей страсти. Он ценок и жаден до жизни, как плесень, поэтому он хочет, чтоб в его жилах текла «чистая» кровь. Жертва — жена врача, который бежал за границу, обреченная с детьми на голодную смерть. Жертва выгодно использована. Дальше — опять спекуляция на «чистую» любовь. Рабочий класс истекает кровью на фронтах, голод истощает его силы, все ставится на карту в борьбе за ра-

боче-крестьянскую власть. Какое дело до всего этого бухгалтеру из Центросоюза? У него только одна цель, которая не дает ему покоя: это — выгодная сделка на предмет «здоровой любви для организма». Он доходит до кошмаров, до трагического ужаса от одной мысли, что он не гарантирован от обмана в этих цекотливых операциях.

Корни творчества Никандрова — глубоко социальные. Он — писатель-общественник, писатель-революционер, и в этом — большая ценность его творчества для нашего массового читателя.

В этих повестях Никандров остается попрежнему большим мастером диалога. У него нет пейзажей, нет нарочитого психологизма, но он умеет дать и пейзаж, и психологию в живой динамике борьбы своих героев. Все это у него органически слито. Единственный недостаток (особенно в «Проклятых важгалках») это — длинноты в описаниях, а общий недостаток — исключительное сосредоточение на мелочах, оторванных от широкого общественного фона. Метод художественно-диалектического построения образов, которым пытается овладеть современное искусство, у Никандрова пока отсутствует. Но уже по повести «Гурты» можно судить, что художник мучительно нащупывает новые творческие пути.

О. К.

Вл. Бахметьев. На земле. Рассказы. Из-во «Мосполиграф». 1924. Стр. 129.

Книга Бахметьева носит отпечаток зрелого спокойного мастерства. Чуть ли не десятилетний творческий багаж суммирован в этих шести рассказах, собранных в небольшую, но ценную тетрадь. Мелькают даты — 1914, 1916, 1918. И каждый рассказ — художественно-жизненная зарубка, крепкая историческая отметина.

Все рассказы — о прошлом. Только один, самый последний, яркий и коротенький эпизод гражданской войны — более близок, хотя уже не влобдевен. Но ценность, основа книги не в нем. Она именно в этих «старых» рассказах.

Первый рассказ—«На земле»—рисует крепкий устоявшийся быт сибирских староверов, когда-то пришельцев в новые земли, вытеснивших отсюда коренных алтайских «инородцев». Их звериная жадность, замкнутость и ненависть ко всему чужому, не староверческому, пришлому—метко и ярко зарисована автором. Мужички «ходоки» из центральных российских губерний, в поисках земли обетованной, — стоном, плачем и коленопреклонением не могут вырвать у этих первых пионеров маленького клочка земли. И пророчеством о великой революции кажутся путанные, слабые угрозы старика-ходока: «Ошибетесь вы! Слухай: не будет по вашей!.. Придем!.. Все одно, придем!.. Сами!..»

В тот же цикл входит и рассказ «Сухой потоп». Здесь опять—о звериной, дикой мужичьей жадности, о безысходной доле переселенцев из России, бегущих на восток от «сухого потопа» степных песков, затопивших родную приволжскую землю. Стон крестьянский, нелепая злоба против всех: против тех, у кого есть хорошая земля, против помещиков и коннозаводчиков и против тех, кто мечтает о всенародном бунте—агитаторов, «сицилистов». Зло все—от горожан, этих бездельников, понастроивших каменные дома, фабрики, заводы. Высохла, обесплодела родная земля, надо искать новую—где-нибудь да есть. «Свою у вас пропасть—только копни...»—говорит горожанин-рабочий Артамон Кузьмич. «Копали в пятом году—не вышло!.. Одно беспокойство».—Вот ответ мужика.

В этих рассказах—глубокая художественно-отображенная историческая правда. Предпосылки октябрьского вихря в этой умело вскрытой мужичьей душе.

Новая деревня показана в рассказе «Машина». Читаешь и думаешь—да ведь это теперь написано. Нет, дата—1914. Переход деревни к новой технике, к машинной обработке земли—он только начался и заглох в кровавой войне, чтобы вспыхнуть вновь с могучей силой после революции, узаконившей его и открывшей ему широкие пути.

Из остальных вещей сборника

обращает внимание рассказ «Алена». Это—о ссыльных, о тайге, о любви. Мало у нас пишут на эту тему, нужную и интересную всегда. Бахметьев дает незабываемые страницы, выпуклую картину этих страшных, нечеловеческих мук, которым предавались лучшие люди страны. Невольно вспоминается описание ссылки у Чирикова. Огромная распухшая 2-я часть его «Жизни Тарханова»—как это ничтожно, мелко, тускло в сравнении с маленьким рассказом «Алена». Здесь как-будто главная тема—любовь. Так мало отдано места описанию звериной жестокости урядника, муки человека, брошенного в медвежий угол. Но как выступают все эти «мелочи», какая ненависть вспыхивает к старому жандармскому строю, как понятен поступок таежной девушки Алены, убившей урядника...

Рассказы Бахметьева, написанные с здоровым реализмом, хорошо и уверенно сделанные,—нужны и интересны. В них нуждается вся молодая новая Россия, которой необходимо знать прошлое своей страны, прошлое—художественно-отображенное, связанное невидимыми нитями с сегодняшним днем.

Издана книга «Мосполиграфом», как всегда, хорошо.

Б. Л.

С. Обрадович. Винтовка и любовь.
Стихи. Изд-во «Мосполиграф». 1924.

Это—отчетная книжка поэта за последний период. Почти все стихи помечены 23 годом. Часть—24-м. Книжка оставляет единое, цельное впечатление: поэт оформился, вырос, нашел себя.

Обрадович тесно связан в своем творчестве с поэтами старой «Кувницы», Кирилловым, Герасимовым и другими. Вместе с тем он ярко индивидуален. Его стих—свой, особенный—не очень ровный, не всегда простой. У него мало вещей для эстрады, для звонкой декламации, плакатов и лозунгов. Его надо читать, а не слушать, чтобы понять, и, поняв, полюбить.

Первая часть книжки—о прошлом, о близком героическом прошлом. Нет восторгов побед, нет

«мирового вала». Тихая грусть
о погибших, печаль о голодных,
тяжких годах.

«И сквозь вьюжную мусть, на пятой
версте—
Оледенелая груда тел».

_____ («Узловая».)

«Незабываемые года...
И не в земле, в веках—их след тя-
желый:

Полуразрушенные города
И одичалые пустые села».

«Никли
Юрты, лачуги, халупы»...
_____ («Молотобоец».)

Но не мертвая тоска и усталость,
не жалость о ярких годах борьбы.
Нет. Твердая вера в необходимость
этих жертв, прежнее упорство:

«Все вынесли! И в будничную склизь,
Усталые, мы не склонили выи».

«Это недаром!..
Нас научили
Вковывать в сталь
Сердца и слова».
_____ («Молотобоец».)

Той же верой проникнуто пре-
красное стихотворение на смерть
В. И. Ленина—«Вождь»:

«Будет веками, будет веками
Сердцем Вождя трепетать земля».

Остатки прежнего «космизма» еще
живут в авторе. Еще по-прежнему
далек он от животрепещущих тем
современности. Но как ни справед-
ливы упреки в уходе «в себя», в ка-
кой-то измене общему делу—может
быть это необходимая болезнь поэта.

«Горько, родные, горько
Будни под блузой носить.
И не знать, как воркует зорька
И рабочие песни забыть».

Вторая и третья части книжки
больше показывают внутреннюю
жизнь поэта. «Винтовка и любовь»—
так многозначительно и так прав-
диво названа эта тетрадь. Любовь—
основная тема второй части: любовь
к жизни, прежде всего, любовь к сво-

ему классу—к пролетариату. Восторг
перед природой, тоска в душном
городе, где: «в бензиновом тумане
туберкулезный всхлип весны»...

Сколько силы в этих строчках:

«До вечера горланил у 'сарая.
Я знаю,—вместе радовались мы:
Он—солнцу, зернышку, а я—срываю
С календаря последний день зимы».

Какой-то перелом, может быть—
тяжкий и болезненный—переживает
поэт, когда в странной смеси косми-
ческих восторгов и «тяжести будней
под блузой» восклицает, обращаясь
к собрату—поэту:

«Суждено нам в пристани столетий
Кладь суровую перенести,
Всем дорогам, всем векам ответить
Крепким и коротким: «Есть!»»

Словно свершает поэт в этой
книжке какой-то «рейс» в глубокое,
узкое, личное—и хочет вернуться
к прежним берегам творчества для
масс. Будем надеяться.

Издана книга прекрасно.

Б. Л.

Синклер, Льюис. «Главная улица»
Госиздат. Лгр. 1924. Стр. 402.

Синклер, Льюис. «Полет Сокола».
«Мысль». Лгр. 1925. Стр. 300.

Знаменитый роман Льюиса «Ми-
стер Беббит», недавно вышедший
в русском переводе (ГИЗ), уже от-
мечен нашей критикой. «Беббит»—
века в американской литературе,
знамение времени, начало новой
эры. Даже Уpton Синклер, с его
социальными романами, с его острой
ненавистью, с его гигантской ис-
следовательской работой,—ничего не
принес нового американскому ро-
ману, собственно американской ли-
тературе. Его работы многое дали
делу социальной борьбы, дали гро-
матный материал, но молодое по-
коление заокеанских писателей вы-
растет не на его произведениях.
Только от Льюиса начинается пово-
рот от детектива, кино-романа,
Брет-Гарта и Лондона. Может быть,
когда-нибудь скажут, что именно
с Льюиса началась американская

литература,—хорошо ли, плохо ли, но с него, ибо Брет-Гарт, Лондон, Генри, Уптон Синклер сделали ценные вклады в мировую сокровищницу, но американской-то литературы не создали, как не создал французской литературы... ну, хотя бы Жюль Верн, и как не создал и не создаст новой русской литературы наш остроумный и небезталанный, но безнадёжно интернациональный, Илья Эренбург. Видим ли мы устоявшийся быт, подлинное лицо нации в бродячих золотоискателях Брет-Гарта и Лондона, в веселых и сентиментальных человеколюбивых рассказках Генри, в публицистических гневных сатирах Синклера? Проглядывает ли сквозь эти увлекательные рассказы подлинная (вне биржи, вне доллара) душа американца, как проглядывает душа француза в книгах Мопассана, Роллана и Франса, как проглядывает душа русского с любой страницы Гоголя и Достоевского? Конечно, нет.

«Главная улица»—это, в сущности, продолжение «Мистера Беббита». Конечно, не по содержанию, не по фабуле. По духу. Тот же быт, те же люди.

Не подумайте, однако, что книга Льюиса, как американская книга, обращает на себя внимание только изображением быта. «Ну, что ж,—скажут читатели,—мы узнали, что на свете на несколько Царевококшайсков больше,—вот и все». Конечно, американский Царевококшайск немного особенный, отличный от русского или французского, но и только. Главное же отличие Льюиса от его американских литературных собратьев даже не в любовном его записывании будничных повседневных фактов. Фактов у Льюиса как раз и нет. Если можно так выразиться, вся литература американская—литература «фактическая». Преобладают в ней авантурные романы, «действия» девать некуда, увлекательность доведена до максимума. У Лондона, конечно, люди не только действуют, но и говорят, и даже думают! Но что они также и чувствуют,—это по большей части только подразумевается. И опять таки о каком «чувстве» говорить: любви, например, хоть отбавляй! И даже со всеми подробностями. Но

нет в них истории человеческой души, нет того, что принято в литературе называть «психологией».

«Главная улица»—это история молодой девушки, Кэроль Милфорд. Почти с университетской скамьи, полная профессорских сказок о прекрасной энергичной Америке, мечтающая о том, чтобы приобрести поскорее на практике приобретенные знания (она—архитектор), выходит она замуж за провинциального врача, который увозит ее в свой родной Гофер-Прэри. Она приходит в ужас от того болота, в которое попала и которое стремится поглотить ее. Идеал этого общества воплощен в дельце Перси Брезнагане. Это—«человек действия». Он достиг максимального жизненного успеха, выраженного в семизначной цифре долларов. Перси появляется в романе (вернее, в Гофер-Прэри) всего один раз. Мысли его просты и ясны. Он знает, чего хочет. Америка об'явила войну Германии; следовательно, немцы должны быть уничтожены. На все вопросы у него готовый ответ. Он—законодатель. В течение многих лет его приезд будет помнить в Гофер-Прэри и довторять его слова: «Мы охотно будем разговаривать со всяким выборным рабочим комитетом, но не потерпим, чтобы агитаторы со стороны вмешивались в наши дела и указывали нам, как мы должны вести свои заводы».

Кэроль борется. Сначала она хочет переделать других, потом пытается переделать себя—приспособиться. Она слишком слаба, чтобы решиться на смелый шаг. Один раз она готова принять случайную любовь пылкого юноши, но скоро понимает, что это не выход. Ее ослепляет страх «общественного мнения». Наконец, она делает последнюю попытку—бежит в Вашингтон. Год одинокой жизни убеждает ее, что идеал Гофер-Прэри—идеал всей Америки. Она возвращается, побежденная и усталая.

Синклеру Льюису не хватает, как будто, одного: ненависти. Но нужна ли она? Выиграло ли бы его произведение от лишнего яда? Едва ли. Льюис—бытописатель своей страны. Он не разрешает социальных вопросов, а только ставит их.

«Полет Сокола»—роман увлекательный. Он носит на себе несомненный отпечаток недоюжной талантливости хорошего и плодовитого романиста.

Главный герой романа—Сокол Эриксон, знаменитый летчик, сын рабочего, сильный мужественный мужчина, почти лондонский герой. Он ненавидит город, дела, конторы и прочее, и прочее. Он, разумеется, перебивал везде, был решительно всем: шоффером, лакеем, сторожем, техником, изобретателем, летчиком... К будничной жизни на одном месте у него нет склонности.

Суть романа в том, что этот герой («новый человек», по Лондону) влюбляется в барышню из высшего буржуазного «света». Она увлечена его силой, широтой его горизонта, его славой авиатора. Родители против такого мезальянса, но все-таки, после небольшой борьбы, влюбленные получают разрешение на брак.

Тут бы и кончить под звон свадебных бокалов. Но «идеология»-то в самых последних страничках. «Молодые» скоро начинают тяготиться тоскливой, однообразной городской жизнью. Начинаются ссоры. Наконец, выход найден: они уезжают в Южную Америку, зачем—неважно. Они отправляются странствовать, бродяжничать, объявляют «бунт против затхлого брака»!

Проблема брака разрешена—«надо сбросить моральный гнет»!

Так неужели же всем людям надо превратиться в бродяг? Ответ готов. «О, тружеников, тянущих лямку повседневной жизни, найдется всегда сколько угодно... Слишком редко сбрасывают с себя люди ярмо рабства, а потому и работы настоящей не делают».

Вот какой кисло-сладкий ответ, от которого за версту несет тошнейшей либеральной пошлятиной, дает Льюис, когда ему хочется разрешить «положительно» одну из своих неразрешимых проблем. В позднейших своих романах он ставит только вопросы, не давая ответов. И хорошо делает.

В заключение надо сказать несколько слов и о переводчиках. Перевод «Главной улицы» Горфинкеля представляется вполне приемлемым. «Полет Сокола» (перевод Карнаухо-

вой) оставляет желать лучшего: плохо передана неправильная речь отца Эриксона, странно звучат сочетания в роде «торгующих капуту» и проч. Издана книга плохо.

Борис Леонтьев.

Пауль Цех. Черный Ваал. Новеллы, пер. с немецкого, под ред. Горнфельда. Изд. «Светлель». Лнгрд. 1924. Стр. 140. Тираж 4.000. Ц. 75 к.

«Черный Ваал»—это каменноугольные копи, требующие—в условиях буржуазно-капиталистической эксплуатации—непрерывных и тяжелых жертв от рабочих. Изнуряя пролетариев каторжным трудом, обезличивая их, отупляя, низводя до положения рабочих животных, Ваал не довольствуется этим и требует настоящих человеческих жертвоприношений. Вот дети рабочих беспечно играют на холме из шлака, но внутри холма происходит взрыв, и дети проваливаются внутрь; другие на прогулке прыгают через ров: земля оседает, и скрытая шахта поглощает детей («Черный Ваал»). Из глубины шахты поднимают лошадь. Она высовывает голову и смотрит на любимого мальчика-конюха, оставшегося внизу. Внезапно голову лошади отрезает острый край дверной коробки,—и мальчик убит упавшей лошадиной головой («Юппен-лошадник»). Работающих в передаваемой тяжелой обстановке шахтеров засыпает обвалом; двое из них зверски борются, пробиваясь на воздух, и оба погибают («Предтеча»). Распушенность нравов толкает девушек-работниц в объятия то одного, то другого мужчины. Рабочий Пульде, которому много раз изменяла любимая им работница, жестоко терзает ее и, наконец, устраивает взрыв, в котором гибнет вместе с нею («Последний заряд»).

Мрачный колорит рассказов, жестокая безвыходность положений, обреченность рабочих на гибель в условиях капиталистического производства создают впечатление беспросветное: рабочие очень темны, отсталы, не без религиозных предрассудков и ни на что, кроме разрозненных индивидуальных вспы-

шек стихийного протеста, не способны. Так представляет себе дело автор: вот рабочий, сломавший себе ногу в шахте, вышедший из больницы еще в состоянии полубредовом, бросается на трактирщика, чужа в нем своего классового врага, и попадает в лапы жандарма («Шахта Валеро»). Вот другой рабочий, убиенный ножом в драке штрейкбрехера, отсидев в тюрьме, после долгих поисков работы доходит до отчаяния и сам становится штрейкбрехером. Надсмотрщик, мстя ему за убийство, систематически зверским обращением доводит его до бешенства: рабочий бросается на него, но попадает в зубчатое колесо, и погибает («Нерваль Мунта»).

Правда, в последнем рассказе «Анархист» рабочие пытаются организовать забастовку, но делают это так недружно, что анархист-инженер, в виде протеста, взрывает машинное отделение. А на смену забастовщикам прибывают под охраной королевских жандармов — штрейкбрехеры...

Этот последний рассказ выдает идейную подоплеку книги Цеха, анархистскую психо-идеологию автора. Эта путанная, туманно-романтическая психо-идеология намечалась и в предыдущих рассказах в излишней, нарочитой сгущенности красок, в настроениях обреченности, почти мистической. В рассказе «Анархист» вся эта мелодраматическая леонид-андреевщина расцветает махровым цветом. Многословные рассуждения анархиста напускают такой туман, что только дивисься жестокой путанице понятий в голове Пауля Цеха. И уже не удивляешься тому, что «слона-то» автор «и не приметил» — не приметил того могучего организованного движения рабочих, которое создано во 2-й половине XIX века в Средней Европе на единственно надежной базе — базе революционного марксизма. В своих «новеллах», изображающих быт горнорабочих Средней Европы именно во 2-ой пол. XIX века, автор не дал никаких намеков на это революционно-марксистское движение, коснувшееся даже наиболее отсталых рабочих масс. Представитель мелкобуржуазного анархизма, автор ни-

чего, кроме бунтарских вспышек в рабочем движении не увидел. Но, как честный художник, он не скрыл того, что все эти индивидуальны и сепаратные выступления бунтарей обречены на хроническую неудачу. Этим Цех-художник побил Цеха-идеолога. Единственно же правильного выхода в революционный марксизм автор все-таки не нашупал. Отсюда весь беспросветный пессимизм его «новелл».

Проф. А. Цинговатов.

И. Гирн. Происхождение искусства. Госиздат Украины. Харьков.

Книга выдающегося финского ученого И. Гирна о происхождении искусства представляет образец серьезного исследования, наиболее ценные достижения которого, особенно с фактической стороны, всеми острями направлены против основных положений и выводов автора. Обстоятельство, характеризующее очень многие работы даже наиболее крупных буржуазных ученых, сильных в области исследовательской, главным образом, по части добросовестного накопления фактического материала, но часто бессильных в подведении итогов, быть может, многолетней, кропотливой работы.

И. Гирн правильно ставит проблему, когда рассматривает искусство, как особую человеческую деятельность, «которая почти свободна от полезных целей». Однако, пренебрегая социальные и психологические корни этой деятельности, автор уклоняется на неправильный путь в стремлении во что бы то ни стало оградить «независимость» искусства от действительных факторов объективной действительности. Так, И. Гирн утверждает, что «даже в своих простейших произведениях искусство в состоянии поставить душевное состояние вне пределов пространства и времени». Вот эти психологические экскурсии в область «чистого чувства» (стр. 68), попытки рассматривать искусство, как социальное явление (стр. 56) и одновременно мыслить его «вне пределов пространства и времени» приводят почтенного ученого к про-

тиворечиям. Исследователь оперирует с богатейшим материалом из истории первобытного искусства, при чем центр тяжести всей работы переносит в область изучения психологических основ искусства. Но поскольку книга вышла в 1904 году, когда материалистическая психология едва находилась даже в зародышевом состоянии, это обстоятельство весьма чувствительно отразилось на позициях автора. Отсюда существенная ошибка и уклон всей книги в безвоздушные пространства идеалистической эстетики. Рассматривая искусство, как деятельность, ученый в то же время замечает: «значение ощущения движения в психологии познания само по себе не представляет эстетического интереса». В настоящее же время учение об условных рефлексах как раз выдвигает на первый план проблему движения и трансформации (преобразования) нервной энергии, ее переклочкивания, сублимации (возгонки) в высшие формы и т.п. Вне этих проблем материалистической психологии немислима плодотворная постановка вопросов современной эстетики.

Пытаясь вывести художественный инстинкт и эстетическое наслаждение за пределы пространства и времени, автор противоречит себе очень ценными для нас замечаниями о ритме, как факторе единения, о значении подражания, особенно о подражании природе. Исследователь сам разрушает построенные им в духе идеалистической эстетики карточные домики следующим заявлением: «Искусство выполняет большую социальную и биологическую задачу и развивается, служа борьбе за существование».

Чрезвычайно важен также вывод, который надлежит целиком отнести, прежде всего к самому автору: «проблема красоты и искусства никогда не может быть отделена от общих проблем социальной жизни». А ведь такое отделение невольно проводится во всей книге, при чем проблема красоты едва затронута, и вопросы социальной жизни лишь привносятся в исследование в качестве этнографических иллюстраций. Между прочим, одной своей стороной эстетика Гирна соприкасается с уче-

нием Фрейда, а именно, теория фантазии-«утешительницы», заменяющей действительное удовлетворение вымыслами воображения. Эта теория подкрепляется у Гирна утверждением, что «художественное творчество и наслаждение дают простор функциям, которые являются самыми важными в действительной жизни», что опять-таки не вяжется с полами «вне пространства и времени».

Наиболее ценной стороной работы И. Гирна является обстоятельная критика биологической эстетики Дарвина, приводящая автора к выводу, отмеченному выше, приближающему его в этом пункте к эстетике Плеханова. Несмотря на то, что социологическая сторона исследования Гирна затупевана и материалистически не выдержана, книга представляет одно из лучших пособий по теории искусства, благодаря ясности мысли, четкости языка, интересному подбору фактических данных и невольным материалистическим выводам автора.

Книга И. Гирна вплотную подходит к самым интересным вопросам современного искусства. Интересующийся искусством читатель-материалист легко отбросит идеалистические привески исследования и воспользуется положительными достижениями незаурядной книги.

Г. Якубовский.

Пушкин. Сборник первый. Редакция Н. К. Пиксанова. Пушкинская Комиссия Общества любителей российской словесности. Гос. Изд. М. 1924. Стр. VIII — 344 — 32. Ц. 4 руб.

Всестороннее изучение Пушкина насчитывает ряд десятилетий. Трудными несколькими поколениями историков литературы—пушкинистов создана особая научная дисциплина—пушкинизм. В области пушкинизма сделано уже многое. Но с неослабевающим вниманием исследователи все более расширяют и углубляют изучение Пушкина, открывают новые материалы и ставят перед пушкинизмом все новые и новые задания. Пушкинская Комиссия Общества любителей российской словесности, возникшая в 1899 году

(в связи со столетним юбилеем Пушкина), немало потрудились в области изучения Пушкина. Работы членов комиссии (А. Н. Веселовский, В. Е. Якушкин, В. В. Коллаш, В. Ф. Саводник, Л. Поливанов, Вейнштерн, В. Я. Брюсов, М. Гершензон, М. Цяловский и др.) прочно вошли в обиход пушкинизма. Деятельность Пушкинской Комиссии, приостановившаяся в силу различных причин в 1906 году, снова возродилась в 1922 г. Отчетный первый сборник пушкинской комиссии открывается обстоятельной статьей редактора Н. К. Пиксанова «Пушкин и общество любителей российской словесности». Далее следуют статья П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный», посвященная стих. «Памятник», М. О. Гершензона — «Сны Пушкина», — разбор сновидений, изображенных в произведениях Пушкина; статья В. Я. Брюсова «Пушкин — мастер», посвящена вопросам литературного мастерства Пушкина, «создавшего русскую литературу», воплощавшего «в одном себе целые литературные школы». Л. П. Гроссман в статье «Онегинская строфа» подвергает анализу строфы «Евг. Онегина». Н. Ф. Бельчиков в статье «Пушкин и Гнедич в 1832 г.» устанавливает, что стих. Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один», без всяких оснований относимое к Николаю I, в действительности обращено поэтом к Н. И. Гнедичу, переводчику «Илиады». Кроме перечисленных статей, в сборнике имеются: М. А. Цяловского «Тексты Гаврилады» и В. В. Баранова «Новый текст «Мадонны».

Значительную часть сборника занимает Пушкинская хроника, главным образом, протоколы Пушкинской Комиссии с момента ее воссоздания до половины 1923 года. Хроника чрезвычайно интересна для всех работающих в области пушкинизма: в сборнике собраны сведения за те годы (с 1917 г.), когда работы пушкинистов чрезвычайно расплылись и, при исчезновении литературных и библиографических журналов, с большим трудом поддавались регистрации. На страницы хроник, — говорит редактор

в предисловии к сборнику, — занесены сведения о многих новых фактах, новых точках зрения, новых проблемах пушкиноведения, не нашедших, однако, разработки в печати». Хроника, данная в сборнике, несомненно, полезна для истории пушкинизма.

В сборнике начато печатанием «Описание Пушкинских автографов Всероссийской Публичной Библиотеки имени В. И. Ленина (б. Румянцевского Музея)». Важность этой работы, как замечает редактор, не нуждается в доказательствах. К сожалению, работа по описанию автографов Пушкина (выполненная, главным образом Н. Н. Фатовым), продвинутая уже далеко (свыше 88 печ. листов), по техническим затруднениям обрывается в первом сборнике в самом начале, — дано описание и транскрипция только одного стих. Пушкина.

Сборник Пушкинской Комиссии, дающий и новые тексты поэта, и исследование и хронику пушкинизма, будет интересен и ценен для всех, так или иначе соприкасающихся с вопросами серьезного изучения Пушкина.

Н. А.

Летопись жизни Белинского. Составили Н. Ф. Бельчиков, П. Е. Будков и Ю. Г. Оксман. Редакция Н. К. Пиксанова. ГИЗ. 1924. Стр. 283. Тираж 3.000.

Юбилейная литература о Белинском обогатилась ценной коллективной работой «Летопись жизни Белинского». Происхождение данной книги таково: в 1913—14 году в среде русской интеллигенции вспыхнул известный «спор» о Белинском, всколыхнувший ряд проблем историко-литературных, научно-методологических, общественно-публицистических и выдвинувший на первый план необходимость строго научного изучения жизни и деятельности гениального критика-публициста.

Откликаясь на эту очередную задачу, проф. Н. К. Пиксанов организовал в своем университетском семинарии 1914—15 года коллективную работу на тему «Летопись жизни Белинского». Основной хронологический каркас книги был со-

здан в 1914—16 годах трудами студентов Буднова и Оксмана. Затем последовал длительный перерыв в работе, и возобновить ее удалось только в 1922 г. при участии Бельчикова. Вся работа была проделана и завершена под руководством Н. К. Пиксанова.

«Летопись жизни» примыкает к тому же типу исследований, что и «Труды и дни», «Биографическая канва», «Хронологическая канва», уже заявленному в нашей научной литературе работами Лернера по Пушкину, Кирпичникова по Гоголю, Абрамовича по Лермонтову, Лященко по Кольцову, Федорова по Белинскому, Гутьяра по Тургеневу, Фатова по Ган.

Н. К. Пиксанов полагает, что «среди аналогичных работ «Летопись жизни Белинского» займет второе место после «Трудов и дней Пушкина» Лернера. Эту самооценку нельзя не признать излишне скромной: «Летопись» не только не уступает работе Лернера, но, может быть, и превосходит ее в отношении методологической выдержанности. Составителями проделана огромная работа не только по печатным, но и по архивным материалам, и результатность этой работы (скрытой, неблагодарной, черновой) очень высокая. Впервые установлен в наибольшей полноте хронологический корпус произведений Белинского. Всего в «Летописи», не считая 1000 названий сочинений Белинского, зарегистрировано свыше 1.500 дат (всегда документированных) в пределах между 1770 в. (рождение деда Белинского) и 1848 г. 30 мая—днем похорон великого критика. Дано много новых хронологических установок;

исправлены ошибки в старых: напр., днем смерти Белинского оказалось не 26 мая, как обычно полагали, а 28-ое мая. Регистрация охватывает не только крупные, но и незначительные факты в жизни Белинского (гениальный предшественник марксистской критики заслуживает такого исключительного внимания), при чем даты написания писем сопровождаются кратким изложением их содержания. Все это закладывает строго-научный фундамент для воссоздания внутренней биографии, *психографии* «неистового Виссариона», пока еще не написанной.

В заключение отметим два дефекта «Летописи»: один—внутренний, другой—внешний.

1) Конспекты писем не всегда удовлетворительны; например, письмо к Боткину от 16/IV 1840 г. содержит важный рассказ о посещении Белинским Лермонтова на гауптвахте и об огромном положительном впечатлении, произведенном на этот раз поэтом на критика (первая встреча Белинского с Лермонтовым была взаимно-колючей). В конспекте весь эпизод этот обозначен ничего не говорящим «О Лермонтове».

2) Факты первостепенного значения следовало бы выделить *зрительно* (напр., жирным шрифтом). Без этого крупные факты растворяются в менее значительных, и четкость основных линий стирается. «Летопись»—незаменимое пособие при строго научном изучении жизни и творчества великого критика.

Проф. А. Цинговатов.

Редакторы { А. В. Луначарский.
Ю. Стеклов.

Издатель: „Издательство Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

„НОВЫЙ МИР“

под редакцией
А. В. Луначарского и Ю. М. Стеклова.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

А. Арсеев, В. Александровский, М. Артамонов, Н. Ашугин, Н. Асеев, Н. Бухарин, С. Басов-Верхомяцев, И. Бабель, С. Борисов, Ив. Вольнов, Л. Войтоловский, Вл. Василенко, Игорь Грабарь, Л. Гроссман, С. Григорьев, М. Герасимов, Ф. Гладков, А. Давильковский, Г. Зиновьев, М. Зощенко, Е. Зозуля, Н. Иорданский, Вс. Иванов, Л. Б. Камеев, М. И. Калинин, Ив. Касаткин, В. Казин, П. С. Коган, Вл. Кириллов, М. Козырев, А. Колосов, проф. Лазарев, проф. Б. Лобач-Жученко, Н. Ляшко, Вл. Лидин, Леонид Леонов, Вл. Маяковский, А. Макаров, С. Малашкин, А. Малышкин, проф. Неменов, Е. Нечаев, Н. М. Никольский, Ник. Никитин, П. Низовой, А. Новиков-Прибой, П. Никандров, С. Обрадович, П. Орешин, С. Под'ячев, Б. Пильняк, Н. Полетаев, М. Пришвин, К. Радек, М. Рейснер, Лар. Рейснер, Пант. Романов, П. Сакулин, А. Ф. Сперанский, Ю. Соболев, А. Соболев, А. Серафимович, Л. Сейфуллина, И. Садофьев, Г. Санников, А. Свирицкий, Серг. Семенов, проф. А. Тимирязев, Л. Троцкий, Я. Тугендхольд, проф. Тулайков, Ал. Толстой, К. Тренев, Ник. Тихонов, В. И. Фриче, Конст. Федин, академик Ферман, проф. Хлопкин, А. Чапыгин, Вяч. Шишков, Ст. Шолов, П. Яровой, А. Яковлев, Г. Якубовский, Д. Эрдэ и др.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ.

	12 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
Для подписчиков как „Известий“, так и „Красной Нивы“.....	6 р. —	3 р. —	1 р. 50 к.	— 50 к.
Для прочих подписчиков...	7 р. 50 к.	4 р. —	2 р. —	— 70 к.